

3

1973

**У Р А Л Ь С К И Й
С Л Е Д О П Ы Т**





В НОМЕРЕ:

В. Кибардин. ПАРНИ С ПЛАНЕТЫ «ИЖ»	2
Н. Мережников. СТИХИ	10
В. Николаев. СВОЯ НОША. Повесть	11
СЛЕДОПЫТСКАЯ ХРОНИКА	36
А. Пудваль. ЛУНАЧАРСКИЙ ГОВОРIT С УРАЛОМ «ЭТО БЫЛО ЧУДО!»	37 40
А. Коровин. ПАРИЖСКИЙ КОММУНАР В ТУРИНСКЕ	43
А. Матвеев. СПОР ОБ УРАЛЕ	44
А. Локерман. ПУТЕШЕСТВИЕ В XVIII ВЕК	44
Л. Яшкин. РУССКИЕ НА ШИПКЕ	48
А. Блюм. РЕСПУБЛИКА «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»	49
А. Балабуха. ПРЕДТЕЧИ. Фантастический рассказ ФОТОКОНКУРС	52 57
И. Полуянов. МЕЖДУ РОСАМИ. Рассказ	58
Н. Марихин. СРЕДИ ВЯТСКИХ УВАЛОВ ИЗ ФОТОАРХИВА...	70 74
А. Поляков. УРАЛ — ВЕНЕЦИЯ ФОТОКОНКУРС	76 79
СЕРЬЕЗНОЕ С КУРЬЕЗНЫМ	80

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР,
СВЕРДЛОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
И СВЕРДЛОВСКОГО ОБКОМА ВЛКСМ

3
1973

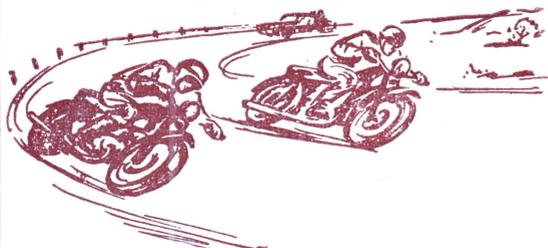
ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Средне-Уральское Книжное Издательство
г. Свердловск

У Р А Л Ь С К И Й
С Л Е Д Д О Л Ы И

ПАРНИ С ПЛАНЕТЫ

„ИЖ“



Владимир
КИБАРДИН

ШЕФ

С этими ребятами, которые в документах значатся несколько прозаично: «слесари-испытатели», я встретился в Ашхабаде. Из холодной Удмуртии они прилетели сюда, чтобы удлинить свое страдное лето.

...Был вечер, и, как поется в песне, делать было нечего. Мы сидели в просторном, как зал ожидания, номере гостиницы. Компания скотилась большая и дружная, и разговоры парни вели на темы, близкие своему сердцу, о мотоциклах. «Старички» вспоминали. За их плечами были сотни тысяч километров самых разных дорог, каждый из них откатал — да не по одному разу — модификации и известных всякому мальчишке «планет» и «юпитеров», и всевозможных «сатурнов», «орионов», «сириусов», о которых слышали только специалисты, и иностранных мотоциклов: чтобы соперничать с зарубежными фирмами, надо знать их продукцию. Спорили о достоинствах и недостатках «явы» и «ижа», сравнивали отечественные машины с зарубежными и сыпали при этом названиями, каких я никогда и не слышал. Обсуждали извечную проблему: что целесообразнее — приспособлять машины к дорогам или, наоборот, дороги к машинам. Кто-то к слову заметил, что у японских мотоциклов скорость доведена до двухсот километров в час. Тотчас же вспыхнула дискуссия:

— Нужна она, такая скорость, как зайцу спидометр! Кто ее выдержит?

— Ну почему, как зайцу спидометр? — возразил Верняев, начальник группы. — А «стрельнуть», чтобы обогнать кого-то или оторваться? Это, с одной стороны. А с другой — если даже и не ездить на такой скорости, польза все равно очевидна: двигатель дольше прослужит. Нет, я бы не сказал, что высокие скорости не нужны.

Тогда Астраханцев перевел разговор в другое русло.

НАЙТИ



СЕБЯ!

— Нет, ей-богу, таких дорог, как в Джанкое, я не видал. Помнишь, Михалыч? — Толе хотелось, чтобы его поддержал Верняев.

Тот сразу откликнулся:

— Разве забудешь? — и повернулся ко мне: — Пилишь, пилишь, все куда-то вверх, по серпантинам, будто в небо ввинчиваешься, а потом вниз по таким же петлям, только успевай руль переключать. Все кажется: вот сейчас не впишешься в поворот — и костей не соберешь! Это мы тогда вторую «Планету» гоняли...

Как многие из нас, северян, Геннадий Михайлович был белобрыс и веснушчат, южному солнцу не доверял и, видно, чтобы уберечься от его лучей, носил шерстяную рубашку.

— Я быстрее тебя к серпантинам приносивался, вишь какое дело, — продолжил разговор Астраханцев. — Оглянусь — тебя нет. Жду: мало ли что...

— Потом-то и я на колесо тебе сел! Мы ведь тогда с ним дорогу разведывать ездили, — пояснил Верняев мне. — На другой день ребят повели. Мы хоть бы хны, а они, смотрю, отстают. Ну, думаю, есть еще у меня порох в пороховницах. Правда, устал я тогда, но был доволен: нормально трассу прошел. А еще через день гляжу и не узнаю своих мальчишек. Крутнули по газам, и только их и видели. Жму, жму, а достать не могу. Чувствую: вот тут можно бы и побыстрее катнуть, а газу надавать рука не поворачивается. Верить — до слез муторно на душе стало. Все, думаю, ясно: пора закружаться, откатал свое. В нашем деле так: коли стал опасаться скорости, на поворотах тормоз давить да к тому же уставать уже после первой сотни верст — надо бросать. Все равно ни машине нагрузки, ни себе радости.

Эта тема была, видно, его больной мозолью. Нет-нет да вздохнет:

— Вот мы однажды... А теперь уж куда, в сорок-то лет...

Он, конечно, завидует молодым, и оттого, наверное, поворачит иной раз:

— У нас-то побольше было тяги к работе. Мы моторам остывать не давали. А нынешним что — скорей бы откатать, да по девчонкам, на все остальное наплевать. И ездят они не по-нашему. Вон Колька Бубякин — на поворотах все время ногу откиды-

вает. Машине не доверяет, что ли? Или боится, что она на бок повалится?

Но уже через час забудется и скажет совсем другое:

— Ребята у меня славные. В командировках жизнь знаешь какая? В полшестого подъем и чуть ли не с постели — на мотоциклы. Случается, недели по две без выходных, от зари до зари. Думаешь, кто-нибудь хоть слово сказал? Я, по крайней мере, не слышал. Понимают парни — надо.

В седло мотоцикла он врос еще в юности. Сперва увлекался мотоспортом, легко выполнил нормы первого разряда, возможно, стал бы и мастером, но пошел работать испытателем, и со спортом пришлось расстаться.

Правда, он выступал в соревнованиях на первенство заводской марки. Но это не те соревнования, к которым мы привыкли как зрители. Это нечто другое. Спортсмены, как известно, выступают на специально подготовленных машинах, которые они знают столь же хорошо, как наездник коня. Это нередко и решает успех гонки, особенно когда соперники равны по силам. Для первенства же заводской марки машины берут наугад, прямо с конвейера. В ходе таких соревнований проверяется не столько мастерство того или иного гонщика, сколько класс самой машины, ее достоинства и слабости. Программа соревнований построена так, что они по существу являются контрольными испытаниями по всем основным параметрам — скорость, прочность на износ, расход горючего и масла при различных режимах работы. Эти испытания дают бескомпромиссный ответ на вопрос: мотоциклы какого завода лучше и соответствуют ли они тем требованиям, которые предъявляет к ним время.

Нечего и говорить, как волновался Верняев, выезжая на соревнования: не просто о спортивной чести, а о судьбах производства, о труде сотен людей, начиная от конструкторов, кончая обкатчиками, шла речь. Их творческую мысль, итоги их исканий предстояло ему демонстрировать. А показать товар лицом — это ведь тоже надо уметь! На многодневном тернистом пути десятки раз можно искалечить машину, а ведь судьи каждую мелочь берут на учет. Без их ведома, а следовательно, и штрафных очков, не справишь, скажем, ни систему зажигания, ни лампочку в фаре не заменишь.

В Ашхабад Верняев привез несколько экспериментальных машин. Две из них отличались от серийных тем, что на них были модернизированы коленчатый вал и электрооборудование. На третьей машине была принципиально новая система питания — бензин и масло подавались отдельно, а не в смеси, как на всех других отечественных мотоциклах.

Был еще один мотоцикл — совсем новой конструкции. Легкий, изящный по форме, он должен соединить в себе качества дорожных и спортивных машин.

ЖЕНЯ ЗАПОЛЬСКИХ

Из-за поворота вынырнул мотоцикл. Он стремительно приближался. В ярком свете солнечного утра холодно блистал огонек фары — сигнал предостережения всем встречным и поперечным: иду на максимальной скорости! Мимо

нас пронесся вихрь. Человек распластался на мотоцикле, слился с ним в единое целое, и невозможно было разглядеть ни его лица, ни рук. Как в кинокадре, в кратчайший миг мелькнувшем на экране, увиделось почему-то самое броское — очки; осталось такое впечатление, будто машина промчалась сама по себе, будто она и не машина вовсе, а некое живое существо с огромными черными глазами...

— Вот это, кажется, уже ничего, — сказал Верняев и нетерпеливо крикнул Борису Киселеву: — Сколько?

Тот оторвал взгляд от прибора-секундомера и взял в руки счетную линейку. Передвинул планку, всмотрелся в цифры:

— Нормально. Запиши.

Подъехал Женя Запольских, заглушил мотор, поднял очки.

— Ну и как я?

— Как джигит. Сто двадцать.

— Вот видишь.

Плутоватые глаза его улыбались, Женя был доволен. Снял тяжелый шлем, потом выбрался из кожаного костюма и превратился в обыкновенного парня, загорелого и белозубого.

Женя — испытатель потомственный. Его отец, Георгий Васильевич, начинал с первых послевоенных «ижей», так быстро прославившихся на весь мир. За многие годы он участвовал во всех видах испытаний, накрутил на колеса сотни тысяч верст, продержавшись в седле мотоцикла необыкновенно долго; в группе испытателей люди то и дело менялись, они приходили и уходили, а Георгий Васильевич все крепился и никак не хотел сменить эту суровую, полную трудностей и лишений жизнь



на более спокойную. На пятом десятке, в возрасте, совсем уже преклонном для испытателя, он осел, наконец, в лаборатории, где те же машины проходят стендовые испытания. Всякая новая модель, прежде чем попасть на дороги, начинает свой путь здесь; тут она и кончается — ее разбирают и до-тошно исследуют. Нечего и говорить, сколь ценен здесь Георгий Васильевич с его долготлетним опытом испытателя-дорожника.

Женька был счастливее своих сверстников — без мотоцикла семья не жила, и доступ к нему он получил еще пацаном. Ему повезло и позже: в армии попал в моторразведку. А четыре года назад в списках заводских испытателей фамилия Запольских стала упоминаться дважды.

Парень он лихого нрава, стремление к скорости у него в крови; такие умеют задать новой модели самую жестокую трепку. Но гонять машину может и дурак, цель испытателя — выяснить совершенно точно, какую максимальную нагрузку способен выдержать тот или иной узел, та или иная деталь, определить, какой режим работы наиболее целесообразен. А это требует не только высокого мастерства вождения, но и исключительного знания машины, умения анализировать.

Вкупе эти качества приходят с годами; как в любой другой профессии, здесь в силе та же непреложная истина: пока лиха не хлебнешь полной мерой, дела своего до конца не познаешь. Женька успел пройти через многие горнила. Недаром именно он в ашхабадскую командировку отправился с мотоциклом будущего — «Иж-Планетой-Спорт».

Впервые он увидел этот мотоцикл еще в модели из дерева и пластилина. Конструкторы-художники и конструкторы-проектировщики постарались: сложный организм машины они вместили в компактные формы, подкупающие своим изяществом, подчеркнутой устремленностью вперед. Женька поинтересовался скоростью нового мотоцикла. Ему ответили: сто сорок!

— Ого, такой у «ижей» еще не бывало!

— Не бывало, так будет!

Женька с нетерпением ждал, когда «Планета-Спорт» поступит, наконец, из экспериментального цеха к ним, испытателям. И она подросла как раз к его отъезду в Ашхабад.

Женька, конечно, понимал, что от макетного образца можно ожидать всяких каверз. Во всяком

случае, полностью гарантировать его надежность нельзя. И поначалу он ездил с осторожностью, присматриваясь, прислушиваясь к мотоциклу. Но машина вела себя не так уж плохо.

Тогда Женька решительно увеличил нагрузки. Он отправлялся в дальние рейсы и, выехав на Красноводское шоссе, стремился выжать из машины все, что она могла дать. Он то разгонял ее, то притормаживал, то снова брал разгон. На первой сотне мотоцикл чутко реагировал на каждое его движение, скорость набирал мгновенно. Но стоило стрелке спидометра перевалить за сто километров в час, как начиналась нервотрепка. Мотоцикл, как загнанная лошадь, дрожал противной мелкой дрожью, тряска была столь сильна, что иногда сбрасывало ноги с подножек.

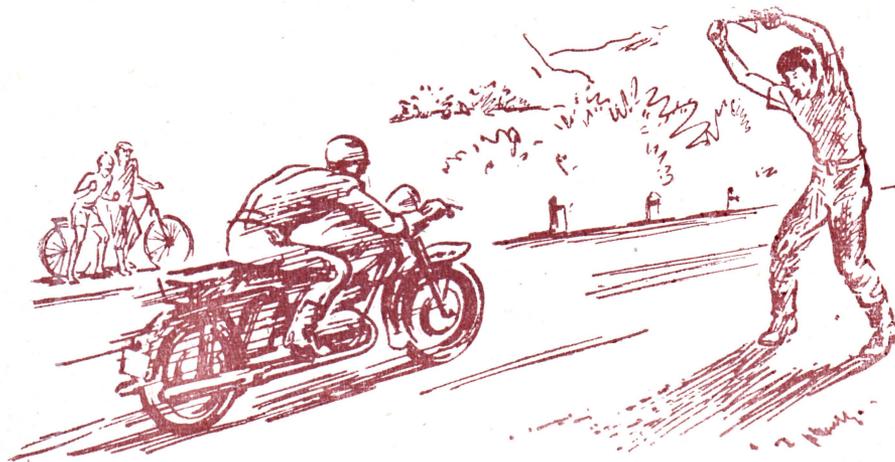
— Придется конструкторам как-то по-другому сажать двигатель, — раздумчиво сказал Верняев, записывая себе в тетрадь эту особенность машины. При такой вибрации высокая скорость теряла всякий смысл.

Впрочем, и с самой скоростью было не все в порядке. На шоссе Женька не очень-то далеко отрывался от товарищей, хотя преимущество и чувствовалось. Провели контрольный замер. Запольских разогнал машину, что называется, на всю катушку. Перед глазами товарищей он промчался за считанные мгновения, стрелка прибора, регистрирующего время пробега контрольного, стометрового отрезка, не успела дойти и до отметки в три секунды. Но все-таки скорость была ниже проектной — 127 километров.

— Ну вот, я же говорил, — мрачно произнес Верняев. — Невозможно на макетном образце добиться путных показаний. Дай этой машине предварительную доводку, глядишь, и выше была бы скорость... И все же, парни, сто двадцать семь — это здорово. А?.. Макетный образец — и уже такие показания!

— Машина стоящая, — сказал свое слово Женька, выражая не столько уверенность, сколько надежду.

Он гонял «Планету-Спорт» и по бетонным большакам, и по ухабистым проселкам, и по горным тропам, и вообще по таким местам, по которым никогда не проходило колесо. Он забирался в горы, высматривал склон покруче и карабкался на него до тех пор, пока задыхающаяся машина не начинала буксовать на месте. А потом по этой крутизне,



где тело сползает к рулю, спускался на тормозах, которые принимали на себя невероятную нагрузку.

Однажды он приехал в гостиницу с ободранной рукой.

— Где это ты так? — подозрительно прищурился Верняев.

К травмам здесь, как на любом производстве, отношение настороженное. Работа испытателя по всему своему существу предполагает опасность, но никакие ЧП на дорогах оправдывать ею не принято. Вопрос чести — обойтись без синяков и шишек, без неприятных разговоров с автоинспекцией; в конце концов это тоже показатель профессионального мастерства. Вот почему Женя, отвечая Верняеву, досадливо махнул рукой и даже, что на него совсем уж непохоже, смутился:

— Мелкая история, Михалыч... На трамплин «Планету» погнал. Вилка до конца просела. Ну, тряхнуло маленько, руль из рук вырвался. Я и спикировал.

— Тряхнуло маленько! Руль у него вырвался, — язвительно проворчал Верняев. — Что ж, выходит, амортизаторы слабоваты?

«Планета-Спорт» все больше разочаровывала начальника группы.

— Даже не знаю, как с такими результатами показаться на заводе, — сказал он как-то Борису Дмитриевичу Киселеву, своему заместителю, и, безнадежно махнув рукой, сделал убийственный вывод:

— Машина совсем «сырая», макетный образец, такие мы и не испытываем никогда. Так чего же от нее еще ждать?

Но Борис Дмитриевич был несколько иного мнения:

— Работы с «Планетой-Спорт», конечно, еще много. Но ты подумай: сколько времени мы сэкономили именно на том, что испытали макетный образец. Мы конструкторам путь спрямили. Месяца на три, я считаю, сократится процесс доводки. Разве это плохо?

Геннадий Михайлович все это, конечно, знал и понимал. Но уж такова его натура — не мог он быть хладнокровным, когда что-то не ладилось. И, кроме того, он опасался, что, испугавшись многих погрешностей машины, конструкторы откажутся от ее дальнейшей доводки. Тертый калач, он знал, что определенный отход неизбежен, не всякой новой машине суждено попасть на конвейер. «Планету-Спорт» ему было бы жаль: задумана она была интересно, это он видел сам, об этом говорили и ребята. В частности, Женька Запольских, который в основном ездил на ней и до конца остался ей верен. Теперь нужно было написать отчет об испытаниях, от него многое зависело, и, наперед зная, что этот отчет будет противоречивым, Геннадий Михайлович никак не мог себя заставить сесть за него.

ОДЕРЖИМЫЕ

В Ашхабаде ребята купили себе каждый по шерстяной рубашке. Правда, один лишь Верняев отважился ходить в ней по жаре. Как-то в шутку он сказал мне:

— Хочешь быть своим в нашем братстве — покупай и себе такую.

Рубашку я не купил, но слово «братство» запомнил. Уж очень метко, мне кажется, характеризует



оно людей, прямо-таки помешанных на автомобилях и мотоциклах. Они бредят ими с детства, марки машин запоминают раньше, чем размер собственных сандалет, став взрослыми, двигатели внутреннего сгорания предпочитают всем прочим и две трети суток проводят за рулем и в возне с машиной. И, ей-богу, не всегда можно понять, что именно доставляет им большее наслаждение — сама езда или бесконечные ремонты!

Вот таким был и Петр Можаров, инженер Ижевского сталзавода. После его смерти минуло без малого сорок лет, но в Ижевске его помнят и память его чтут. Ведь это он, что называется, в самом деле порядком сконструировал и смастерил с друзьями первый советский мотоцикл.

Кое-кто из жителей, наверное, еще помнит, как на улицы с ревом, грохотом и лязгом выкатилось диковинное сооружение. Оно было под стать хозяйну — могуче, тяжеловесно. Это у нынешних мотоциклов механизм хитроумно скрыт, а у того, первого, он весь был на виду, и превеликим множеством частей и деталей, болтов, гаек и стяжек всякого приводил в благоговейный трепет.

У «Иж-1» богатое потомство. С легкой руки Можарова мотоциклы, — правда, только с седьмой модели, — пошли в серийное производство, они и принесли известность маленькому тогда рабочему городку в Прикамье. Петр Владимирович своей неистребимой страстью заразил многих — с мотоцикlostроением теперь связаны тысячи людей, конструкторское бюро стало головным в стране, а по дорогам земного шара, говорят, снуют более двух миллионов мотоциклов с маркой ижевского завода.

Они мало чем напоминают своего прадедушку образца 1929 года. Нынешние «планеты» и «юпитеры» вдвое легче и вдвое быстрее, а уж об удобствах да красоте и говорить нечего.

Они вырываются из каменных объятий города и устремляются по дорогам, большим и малым... Куда? А поди уследи за ними. Вот магаданец Худояров вышел из дома ранним утром, оседлал «кижа» и покотил — сначала за околицу, а потом — в Москву. Симферополец Нестерович «прогулялся» в Среднюю Азию, исколесил ее вдоль и поперек, рыскал там, где только горным козлам бродить, но ему этого показалось мало, и он, перед тем как вернуться к черноморским пляжам, сделал крюк до Москвы.

Они, одержимые, шлют письма на завод. Иногда восторженные. Тот же Нестерович: «...И не было у меня с собой даже запасной камеры. За все время лопнула только пружина заднего амортизатора. Что касается надежности, то «иж» — ее воплощение!» Иногда суховато-деловые: «Предлагаю заднее сиденье сделать ниже... Нужно, чтобы колеса были взаимозаменяемы...» Люди не хотят быть просто потребителями, «владельцами транспорта», они стремятся быть причастными к процессу его создания и совершенствования.

И в этом миллионнике автомоторбатстве испытатели занимают особое место. Они сегодня ездят на машинах, которые мы увидим только завтра. А может быть, и вовсе не увидим никогда.

МУРТАЗИН-СТАРШИЙ

Утром мы выехали из полусонного Ашхабада и остановились на девятнадцатом километре, возле небольшого навеса с широкой скамьей под ним. Здесь еще несколько лет назад ребята разместили контрольную стометровку. Слева возвышалась буро-зеленая гряда Копетдага, от него сюда пробился холодный прозрачный ручей; он нырял под дорогу и по серой равнине устремлялся дальше, пропадал в пустыне. Каракумы были тихи и безветренны в этот ранний час. На этом и строился расчет: пока нет ветра, пока шоссе не клокочет потоком машин, успеть прсвести «динамику», то есть еще раз проверить мотоциклы на скорость, узнать, какова она теперь, когда машины пробежали многие тысячи верст и поизносились.

«Динамику» Верняев доверял только наиболее опытным, и первым поехал на разгон Толя Астраханцев. Потом отъездил замеры Женя. Теперь он, уже раздевшись, шутил и развивал планы коллективной вылазки в горы за тюльпанами. А на шоссе тем временем выводил свою «разделку» Муртазин-старший.

Спортивный азарт присущ всем этим парням, без него испытателем и не быть. Если в тебе нет жажды к состязанию с соперником, с секундной стрелкой, с расстоянием, с самим собой, наконец, если в твоих жилах холодная кровь, сможешь ли ты изо дня в день мчаться на предельной скорости, не дрогнет ли твоя рука направить мотоцикл на трамплин, который подбросит тебя вместе с машиной высоко в воздух, хватит ли у тебя духу, не нажимая на тормоз, спуститься с кручи?

У Муртазина-старшего всего этого в избытке.

Он спортсмен по натуре. До армейской службы был членом юношеской сборной команды конькобежцев сначала Удмуртии, потом России, а затем и всей страны. Сейчас он играет в заводской футбольной команде.

А испытателем он стал благодаря Жене Запольских — с ним Рафаил знаком с мальчишества, вместе занимались в конькобежной секции, в один год уходили в армию, в один год вернулись и стали мотоциклистами. Позже Рафаил привел в отдел младшего брата Рафиса. Их зовут здесь или общим именем: Рафики или Муртазин-большой и Муртазин-маленький.

Испытатель сам постоянно проходит испытания. Четыре года — по обычным меркам невеликий трудовой стаж. Но для Рафаила они были чрезвычайно емки, он поездил и повидал за эти годы столько, что другому хватило бы на полжизни: «распутывал петли» на дорогах Крыма, Карпат и Кавказа, участвовал, как и Верняев, в многодневных соревнованиях на первенство заводской марки. Каждая из таких командировок — это испытания мастерства, нервов, тела и духа.

Как-то рассказывал он мне об автополигоне в Димитрове:

— Ну, есть там, конечно, скоростная дорога. Как стеклышко, движение в одну сторону, никаких тебе помех, знай жми. Только от однообразия становится не по себе, утомляет оно, убавкивает, думаешь черт знает о чем, а не о том, что на спидометре 115—120. Знаете, какая это скорость? Жук в лицо угодит, так будто кулаком тебе по скуле двинули!

Там всяких дорог полно. Хотите «стиральную доску»? Пожалуйста. Едешь — дыр-дыр-дыр — «ижонки» под тобой дрыгает, как лошадь с мелкой рысью. Того и гляди или с седла сползешь, или руль из рук вырвется. Есть еще и такая — шумо-создающая. Оглохнуть впору. А на обочине человек с прибором регистрирует весь тот гвалт, который от машины идет: не перебрали ли конструкторы сверх нормы — ведь мотоциклу и без того слишком много возможностей пошуметь отпущено.

Или «бельгийская мостовая». Хитрая дорога: плиты на ней по величине разные, с зазорами, неровные. Тряска ужасная. В мотоцикле, кажется, деталь по детали лупит, а в тебе — кость по кости. К тому же, у наших машин тогда своя вибрация была сильная. Погоняешь день по всем этим скоростным, бульжным, «бельгийским» да «стиральным доскам» — руки пухнут. Верите, первые три дня ложку не мог в руку взять.

В Ашхабад он приехал с «разделкой». Сумасшедшие денечки: до завтрака езда, до обеда езда и до ужина, а часов в девять вечера — тоже езда. Павел Андреевич, московский конструктор, выделил ему участок дороги длиной 25 километров, а туда и обратно — 50. Если на предельной скорости, то для Рафаила это пустяк, он способен сотню за час покрыть.

Но Павел Андреевич определял разный режим работы. Даст скорость 40, вот и пили. Прямо сказать, непривычна Муртазину-старшему такая тягота, ему с ветерком подай. А тут хоть чай за рулем пей. Скучота. На дороге уже каждая былинка, каждый бархан знаком. А километровый столбик, у которого поворот назад делал, даже во сне снился.

До обеда было еще так-сяк. А потом поднялся ветер, дорога окутывалась пылью. Пыль лезла в рот, в нос, за шиворот, и никакого спасения от нее не было, впору в противогазе ездить.

Павел Андреевич всякий раз встречал Муртазина-старшего, проверял расход бензина и масла, регулировал их подачу и заливал заново.

Наконец он сказал:

— Хорошо. Со временем мы, конечно, добьемся еще лучшего соотношения масла и бензина, а пока придется довольствоваться тем, что удалось.

Сейчас Муртазину предстоял последний заезд — на скорость.

Он проехал километра два, развернулся, всмотрелся вдаль. Дорога была пуста, никто не мешал. Муртазин поудобнее уселся в седле, провел рукой по очкам, сделал глубокий вдох, как бывало перед стартом на коньках. И переключил скорость.

Машина стремительно убыстряла бег. Деревья на обочинах слились в сплошную зеленую стену. С шумом промелькнула встречная «Волга». Муртазин лег грудью на тугую подушку ветра, стараясь дышать так, чтобы он не вгонял воздух обратно в легкие. За пологом поворотом показался красный флажок. Стоя на первой черте контрольной стометровки, держал его Муртазин-младший.

Теперь Рафаил глядел только на этот флажок. Важно было подъехать к нему на «максималке» — на самой высокой скорости и сохранить ее до второго флажка. Ручка газа была повернута уже до упора, мотор гудел на предельных оборотах. Есть! Промелькнул опущенный вниз флажок. Несколько коротких мгновений — и позади остался со вторым флажком Коля Лушников. Рафаил бросил взгляд на спидометр: стрелка рвалась за шкалу, дальше той риски, рядом с которой цифра 120.

Теперь можно было и сбросить газ, выжать муфту сцепления. Мотор умолк, но машина еще долго неслась по инерции, Муртазин не тормозил: ему было хорошо ехать вот так, не напрягаясь больше, ни о чем не думая...

САЛАЖАТА

В воскресенье я напросился на поездку по тем дорогам, где обычно ездят испытатели.

— Кого же с тобой послать? — задумался Верняев. — Вот разве Коля Бубякин с Димкой Серебро? Они у нас еще салажата, пускай порезвятся. Пойдем-ка к ним.

Коля с Димкой по воскресному времени валялись на постелях и лениво пересказывали друг другу старые анекдоты.

— Ехать? — вскочил с койки Бубякин. — Хорошо придумано. Знаете, куда махнем? На подземное озеро! Сколькo? Да пустяки — около сотни километров. Дорожка — зеркало, езды — какой-нибудь час. Димка, подъем!

Потом всей компанией меня собирали, взахлеб рассказывая, что это за чудо природы — подземное озеро, озабоченно советовали взять документы: как-никак, приграничье. В походном снаряжении появился Коля. Медного цвета шлем, очки, кожаная куртка, брезентовые штаны, к одному из сапог прикреплена резинкой запасная камера, в руках краги. Все, как полагается испытателю, когда он на работе. Коля протянул мне кожанку:

— Это — вместо соломки. В случае чего — кто нам ту соломку подстелет?

Дима вертелся перед зеркалом. Он миловиден, как девушка, и даже рабочая спецовка его красила.

...Мы выбрались из шумного водоворота машин. Дорога — сплошная аллея — вытянулась вдоль Копетдага. Над хребтом висели тучки, в апреле они еще бивают; на зеленых склонах то тут, то там серые точки: паслись бараны.

По шоссе двигался целый мир: город ехал на периферию, а периферия — в город. Автобусы, грузовики, «Москвичи» и «Волги», мотоциклы и мотоциклеты (как еще назвать мопеды?). Не было только всадников — ни на горячих скакунах, ни на верблюдах, ни на ишаках. Право же, стоит раз побывать за околицей Ашхабада в базарный день, и убедишься, что Туркмениз из страны копыт превратился в страну колес...

— Глядите, маки! — кричал Коля.

Я их тоже заметил — северянину не могут не броситься в глаза маки, которые цветут прямо по обочинам дороги, и когда — в апреле! Двумя алыми строчками окантовали они серую ленту шоссе.

Но вот дорога загнула крюк на восток от хребта. И ниже стали деревья вдоль кюветов, а потом исчезли совсем. Отцвели маки. Теперь справа от нас лежала уже не плодородная, с бахчами и садами, а серая и неприглядная равнина. Здесь еще не было барханов, но близость их угадывалась, вдали то и дело зловеще мелькала бурая полоса песков.

Поток машин остался в стороне, встречали мы их теперь и обгоняли только изредка. Шоссе уходило к горизонту стремительно и прямо. Здесь, в пустыне, ему не было нужды петлять, можно проехать десятки верст без крутых поворотов.

Вот тут-то ребята и дали себе волю. Вдруг резко прибавит газу Димка и, приветственно махнув рукой, с улыбкой унесется вперед, мимо нас. Он и в седле сидел красиво, с каким-то присущим только ему щегольством. Глядя на него, тотчас «заводился» Коля. Стрелка спидометра своим красным концом прыгала почти до отказа вправо. Мы, словно выстреленные, «доставали» Димку, и теперь уже махал рукой и улыбался, оглядываясь назад, Коля.

Они оба мчались упорительно. Тугой ветер, бьющий в лицо, был им в радость. Скорость умеет покорять людей и куда более невозмутимых, чем два этих непоседливых парня.

В такие минуты по-настоящему чувствуешь, что это такое — скорость. Она норовит столкнуть тебя с седла, рвет с твоей головы шлем, вдавливая в переносицу очки, так что за них начинаешь опасаться — не раскололись бы. Она несмолкаемо гудит в ушах, и этот тугой гул перекрывает все остальные звуки, которыми живет дорога. От ураганного ветра пересыхает во рту и в носу; крикни — и не услышишь своего голоса, ветер тотчас унесет его назад... Так ощущать скорость выпадает немногим — горнолыжникам, парашютистам, гонщикам... кому еще?

Не скрою, поначалу мне было не по себе: думал — ну, одно неверное движение рулем, и поминай, как звали. Недаром даже профессионалы-гонщики опасаются ездить пассажирами: со стороны и им кажется, что водитель управляет машиной неумело. Но Коля неверных движений, должно быть, не делал. И вскоре упоение скоростью захватило и меня. Потом, когда мы проезжали неисправный участок дороги и стрелка вернулась к цифре 80, эта скорость показалась мне смехотворно малой...

В подземный грот мы попали с трудом — в выходной день люди съехались сюда со всей округи. Наконец нас пропустили, мы долго спускались по крутой и скользкой лестнице в преисподнюю,

где тускло светили электрические лампочки. Вода в знаменитом озере тепла, как в бане, плавать в ней — одно наслаждение и особенно, говорят, зимой. Сегодня она буквально кипела от человеческих тел. В этой толкотне Димка и Коля как-то все же умудрились найти «окно», чтобы нырнуть с высокого камня. Они плавали по извилистому гроту, отдыхали, прилепясь к черной стене. Хотя под сводами гигантской пещеры стоял гул людских голов, все здесь казалось фантастическим и чуточку мрачным.

Когда мы выбрались на белый свет и устроились загорать, Коля спросил:

— Ну как?

Этот вопрос я слышал от ребят много раз. Муртазин-младший: «Ну как, тепло?» Это в первый день, когда мы вместе вышли на дышащую зноем улицу. Муртазин-старший: «Ну как, ничего горка?» Это — когда он завез меня на гору, столь крутую, что ему пришлось привстать и нависнуть над рулем, помогая «ижжу». Верняев: «Ну как тебе город?» Это после прогулки по Ашхабаду — цветущему, тенистому и яркому.

Их вопросы звучали так, будто и Ашхабад со всеми его достопримечательностями, и Копетдаг, и сказочное озеро принадлежало лично им, и, даря все это мне, они ждут похвалы, как хозяйка за удавшийся пирог. Они хотели, чтобы я восторгался всем, что так или иначе связано с их профессией, всем, чем восторгались они сами.

Ненасытный Димка умчался прокатиться куда-то в распадок, а мы не жились на солнце. Коля заботливо подставлял жарким лучам то спину, то грудь: его тешила мысль, что уже в начале купального сезона там, дома, он будет выделяться на пляже своим загаром.

Ростом Коля невелик и весом до стандарта испытателя недотянул около пуда. Он худ и поджар, как гонча (это его собственные слова), зато каждая мышца на виду — тело спортсмена.

— У меня служба в армии была такая — не зажиреешь. Стрелковый батальон. Все время в горах мотались.

— А как ты в испытатели попал?

— До службы слесарил на мотопроизводстве, а после армии подался в обкатчики мотоциклов. Тут мне не по душе пришлось. Тыщу штук в сутки завод дает, и все они стекаются в цех обкатки. Представляете, какой там рев стоит и сколько гари? А езда? Разве это езда... Узнал, что в испытатели ребят подыскивают, ну и напросился. Отбор строгий, не всякого возьмут. Мы с Димкой вместе поступали. Стаж испытательский у нас с гулькин нос — по семь месяцев. Зато позади зима. А вы знаете, что это такое зима для нашего брата? Летом-то на мотоцикле кататься любой парень рад — и удовольствие, и деньги платят. А вот он пусть зимой поедит!.. Одевают нас здорово, ничего не скажешь. Меховой комбинезон, шуба, унты, теплые краги. Я еще шлемом обзавелся, какие военные моряки-катерники носят. Все лицо можно укрыть, только щечку для глаз оставить, да и на глаза-то очки надеваешь. И, верите, все равно холодно. Понемножку, понемножку, а подбирается мороз... Живу я в сорока километрах от Ижевска, частенько езжу туда и обратно на своих колесах. Начальство довольно: как-никак, восемьдесят километров в день я как бы сверх задания накручиваю. Чем быстрее машина свой километраж отгоняет, тем для завода лучше. На рыбку или за грибами вздумал в выходной — с дорогой душой тебе мотоцикл дадут. Использование государственного транспорта не только не воз-

браняется, но и поощряется. Редкий случай, правда? Важно только, чтоб был аккуратен, записывал все свои замечания, чтобы мог указать конструкторам на каждую слабость. Удмуртию я, конечно, исколесил всю. И плохие, и хорошие дороги облазил, как надо. Норма у нас будь-будь: летом до четырехсот километров на день приходится. Хочешь, не хочешь, а шуруешь на самых высоких скоростях. А это-то как раз и нужно: машину надо испытывать на предельных режимах. Так что скорость — это гвоздь нашей профессии...

Возвращаясь, мы завернули к какому-то аулу, от него поднялись в горы: Коля хотел показать мне черепак. Мы забирались все выше и выше, без всякой дороги, по выжженной траве. Местами гора вздымалась так круто, что мне пришлось напрягаться, чтобы не соскользнуть с сиденья. Потом он повел машину в распадок — и теперь я изо всех сил упирался в луку седла, чтобы не навалиться на Колину спину. Остановились на роскошной лужайке. Я посмотрел вверх по склону. Он пестрел следами, ниточки протягивались к самым скалам.

— Это мы с ребятами, — сказал Коля. — Видок оттуда открывается — дали дальние! Тюльпанов там...

Черепак мы тогда не нашли, они почему-то все попрятались, возможно, перед непогодой. Но я лишний раз убедился, что наш ижевский мотоцикл, как говорится, зверь-машина: на ту кручу, где были следы, и пешком-то «в лоб» забраться не просто.

СНОВА ЖЕНЯ ЗАПОЛЬСКИХ

Ребята возвращались в Ашхабад с последних замеров. Все были в приподнятом настроении. Один мотоцикл пришлось вести на буксире, но это вызывало лишь юмористические реплики: на результаты испытаний поломка уже не влияла. Повеселел даже Верняев и сообщил между прочим:

— Говорил с Ижевском. Сказали, что доводка всех машин будет закончена к осени. В том числе и «Планеты-Спорт». А там будем гонять их снова. И новую модель обещают подготовить, на пятьсот кубиков! — обращая ко мне, добавил: — С одной такой мы уже работали, да вот не попала в серию. Может, этой повезет... Ну что, парни, упаковывать будем мотоциклы? Хватит, покатались, сладкого поменьше, горького не до слез.

— А тюльпаны? — воскликнул Женька Запольских. — А тюльпаны для любимых? Или мы не рыцари? Нет, мы еще скатаем напоследок в горы!..

В Ижевск Женька прилетел первым — уж так получилось. На заводе его встретили шумно. Был обеденный перерыв, и испытатели, побросав кошачки домино, окружили его.

— Привет курортнику!

— Видал загар-то? А мы все еще в пальто паримся.

— Ну, ладно, ладно, черти! — отмахивался Женька. — Лучше скажите, что у вас новенького?

— Новенького? Экспериментальщики еще один образец «Планеты» собирают. А твоего уже раскулачили...

Он прошел по кабинетам лаборатории. Как-то странно ему было видеть свою машину в разобранном виде. Все эти узлы и части — рама, коробка скоростей, карбюратор, коленвал, вилки, двигатель, наконец, — существовали теперь сами по себе, словно никогда и отношения не имели ни к нему, испытателю, ни к мотоциклу. Он брал в руки всякую мелочь, вроде поршневых колец и подшипников, разглядывал, какой след на них остался от его полуторамесячной гонки. Они подносились, конечно, но это было обычным делом, и Женька уже не тревожился.

Он знал, что будет потом: вот приедет Верняев со своей тетрадь-дневником, вместе с начальником лаборатории Рожновым они засядут за отчет. Родится внушительный документ. В его лаконичных и сухих строчках не останется места личным переживаниям испытателя в тот, например, миг, когда он летел через руль. Зато будет сказано о ненадежности передних амортизаторов. В отчете не прочтешь о том, какая неприятная штука — вибрация, зато в нем точно будет обозначена скорость, при которой она возникает. Конструкторы детально изучат отчет, вникнут в каждую мелочь, но все равно еще десяток раз опросят испытателей, будут советоваться с ними. Все это будет длиться не день, не два, а до тех пор, пока машина не выйдет, наконец, из экспериментального цеха...

Однако на этот раз конструкторы не дожидались прибытия Верняева с отчетом, осадили Женьку сразу, едва он попался кому-то из них на глаза в коридоре:

— Ну, давай выкладывай. Ваше дело, известно, критиковать, а наше — стоять навывтяжку и отвечать: «Будет сде...»

Он улыбнулся: знакомые речи — конструкторы всегда немножко ироничны и делают вид, будто от испытателям относятся крайне скептически. Отвечать им следовало тоже с усмешкой.

— А что выкладывать? Душу чуть от вибрации не вытрясло. Мотор вы, видимо, тракторный поставили, да?

— Один — ноль в твою пользу. Еще на что пожалуешься?

Разговор перешел на деловые рельсы. Женька старался быть точным — велика цена слову испытателя. Рассказом об амортизаторах он удивил.

— Вот тебе раз! Да ведь и на прежних машинах такие же стояли. Уж не загибаешь ли ты, дружок?

Все лето конструкторское бюро занималось до-

водкой — каждый отдел подрабатывал свою группу узлов. То от конструкторов, то от ребят из экспериментального цеха Женька дознавался, что, собственно, творится с его машиной. Ему говорили:

— Цепь решили с левой стороны перенести на правую.

— Под мотор резиновую подушку подложили.

А в историю с амортизаторами внес ясность Рожнов:

— Оплешность вышла: просто-напросто слабо закалили.

— Так это ж ерунда! — обрадовался парень. — Закалить по-настоящему, и все?

— Конечно. Ну и гайку понадежнее закрепить.

— Владислав Борисович, а с двигателем что? Ведь не потянул он на 140.

— Тут дело сложнее, Женька. Новая «Планета» чуть ли не наполовину теперь изменится. Может, двигатель после этого и потянет. А если нет — что ж, конструкторы дальше работать будут. Точку на этом не поставят. Понимаешь?

Он это понимал. Точки не будет, потому что совершенству предела нет. Вот выйдет из экспериментального цеха обновленная модель, дальнейшие испытания покажут, что она вполне пригодна, ее пустят в производство, а конструкторы все равно будут продолжать улучшать ее. Ведь если вдуматься, вся длинная родословная «ижей», это, в сущности, непрерывная цепь совершенствования одного и того же мотоцикла.

— Владислав Борисович, скоро «Планета» опять пойдет на испытания, так можно надеяться?..

— Почему же нельзя? Надейся, — улыбнулся инженер.



Рисунки В. Сыскова



Николай

МЕРЕЖНИКОВ

* * *

Закончились странствия лета,
И ставит сентябрь в уголок
Притертый к руке
и согретый
В дорожной пыли батожек.

А осень с мечтой о сугреве
Возьмет его в руки опять
И станет стучать по деревьям,
Орехи и листья сбивать.

А там и декабрь крутолобый!
Взмахнет он метельной полой,
Метнет батожек по сугробам
Пронзительно-звонкой стрелой.

Когда же апрельскую ставень
Окатит капель серебром,
Апрель его в лунку поставит —
И листья пробрызнут
на нем.

УТРОМ

Сквозь заборы все
и завалы,
Сквозь запоры все
и защелки —
Светлый витязь в кольчуге алой —
Входит солнце в твою светелку.

Просыпаешься:
Кто я! Где я!
И глаза открываешь сонно.
И светелка вся золoteет
От тебя ли самой, иль от солнца!

Все приснилось! А снилось —
что же!
Вспоминаешь: витязь в кольчуге...
Вспоминаешь: конь...
тридорожье...
И дорогу к тебе по лугу.

Подбегаешь к окну и —
ойкаешь:
Где же конь — искрометный цокот,
Что привез одного
под окна,
А умчит вас двоих из-под окон!

Никого — ни коня,
ни витязя...
Только голос:
— Маша!.. Ну, Маша же!
И стоит под черемухой
Витька.
И кричит. И рукою машет.

* * *

Еще не ясен лик воды,
Еще поля глядят незряче.
Еще леса в тумане прячут
Свои дороги и следы.

И словно вовсе их и нет,
Заречных выпасов и пашен.
И все, что есть, — неяркий свет,
Как будто это свет вчерашний.

И нет цепочки деревень,
Даль не теплеет зоревая...
Как трудно прорастает день,
Как медленно он прозревает!

И я не жду, когда на нет
Сойдет туман
И обнажится
Земля...
Угадываю лица
Там, где еще пока их нет...





Владислав НИКОЛАЕВ

СВОЯ НОША

Повесть

Рисунки Н. Мооса

1.

Во время войны жила-была на Урале, в медвежьем углу, девушка по имени Маша. В сорок втором она окончила школу и уже на другой день пошла работать. В ту пору почти всем выпадала такая доля: девушкам после школы — на работу, а их женихам — воевать. Проводила на фронт и Маша своего суженого, а сама из-за ученической партии пересела за учительский стол, чтобы наставлять уму-разуму малышей-перволеток.

В близкой Машиной родне все мужики уже отвоевались: семидесятилетний дед

грел на печи старые раны, полученные в прошлые войны — японскую, германскую и гражданскую; отец не воротился с финской, полег где-то навеки в белые снега; а недавно пришла весточка и о дяде Саше, мамином брате: тяжело ранен, лежит на излечении в южном госпитале. Больше в Машиной родне мужиков не было, ежели не считать пятимесячного племянника Санюшку. Но этому до война еще расти да расти.

Зима на Урале в тот год выдалась необычайно лютой. В середине ноября грянули

сорокаградусные морозы и держались почти до самой весны, отпуская немного лишь в пору мягких снегопадов. От стужи не то что дерево — железо ломалось. Неглубокие речки промерзали до дна, вода, вспучиваясь и застывая лавой, текла поверху, дымясь колючим паром. А на подворье дяди Саши случилось прямо-таки чудо: вывернуло из земли столбы с воротами, веревки, которые он поставил прошлым летом, перед самой отправкой на фронт; все в округе почли это за плохую приметку: убит хозяин, либо пропал без вести, однако весточка пришла не то чтоб хорошая, но и не совсем плохая: не убит, не пропал без вести, ранен только и скоро, хоть и без ноги, воротится домой.

А сколько дров было сожжено по деревням — страшно молвить! Прежде поленицы вокруг каждой избы вроде вторых стен стояли, и за одну зиму не стало их. И дрова-то были не какие-нибудь осиновые или пихтовые, сторающие как синь-порох, без следочка, а все березовые, соковые, заготовленные по весне, в пору бурного движения соков по подкору, — самые что ни на есть жаркие дрова, рассыпающиеся в печи на крупные, нестерпимо яркие, белые угли.

Любо в зимних потемках сидеть перед печкой и караулить жар, караулить тот единственный момент, когда, закрыв трубу, лишнего градуса не выпустишь во вселенную и в избе угарно не будет.

Не хватало дров — падали под топором заборы, трухлявые баньки на задах, бесхлебные амбарушки, оставшиеся без скотины выморочные хлевы.

Весной метеорологи подсчитали и ахнули: по суммам минусовых температур уральцы за один год пережили две зимы.

Вот в такое злое времечко и началась Машина трудовая деятельность. Сентябрь и октябрь она не без удовольствия провела со своими малышами, а в ноябре вдруг оказалась без дела: некого стало учить, ни души в классе. Да что в классе — вся школа будто померла. Исправно являлись лишь учителя. Кутаясь в шубы и дуга на озябшие пальцы, час — другой сидели в холдной учительской и тоже разбредались по домам.

Это была единственная школа чуть не на три десятка хуторов и малых деревенек, широко разбросанных по лесам и полям вокруг большой Машиной деревни. В мирное время детей подвозили из глубинки на подводах, теперь же в колхозах каждая клочка была на учете, и дети должны были доби-

раться, кто как может, в основном на своих двоих. И добирались бы! Но уж больно пообносились за полтора года войны: заплатата на заплате, дыра на дыре. А ежели что изнашивалось дотла, замены уже не было. И голод с каждым днем наваливался все сильнее и сильнее. И, наконец, эти страшные неземные морозы. И десятки мальчишек и девчонок, шурша луковичной шелухой, целыми днями сидели на печках, отколуывали с кирпичей известку, жевали ее вместо леденцов, не смея и носа высунуть на улицу.

В начале декабря Машу неожиданно вызвали в райцентр — в райком комсомола.

Как и большинство деревенских, боялась она всяких вызовов в казенные учреждения, еще пуще боялась самих учреждений, оттого всю дорогу тоскливо думала-гадала: кому понадобилась, зачем, ждала наказания или проборки, хотя сама не знала за что. Желание поскорее избавиться от неизвестности и мороз трескучий подгоняли шибче кнута, и тяжелый зимний путь в пятнадцать километров она одолела за три часа с небольшим, перед обедом уже робко скреблась в обметанную по краям изморозью райкомовскую дверь.

В помещении было парно и сумрачно, стекла на окнах заросли в два пальца ворсистым синеватым льдом.

Из-за огромного канцелярского стола навстречу Маше поднялась худая, чернявая, похожая на грача остроносая девушка. Смоляные жесткие волосы подстрижены помужски или, как говорили в те времена, «под Зою» — имелась в виду Зоя Космодемьянская, портреты которой не сходили с газетных полос. Одета была чернявая в ладную гимнастерочку защитного цвета, перетянутую в талии широким командирским ремнем, в синюю короткую юбку, на ногах — яловые сапожки, на плечи по-комиссарски накинут зеленый бушлат с подогнутыми рукавами... Такая вся по-мальчишески утянутая, выпрямленная, и Маше близ нее вдруг неловко стало за свои толстые, пушистые косы, за морозный румянец в обе щеки, за пуховую шаль, искрящуюся от растаявшего в помещении снега и приспущенную на плечи. Комсомольского секретаря звали Женей. Своей маленькой ручкой она неожиданно крепко тряхнула Машину руку, потом из-под бушлата обняла гостью за плечи и, проведя несколько раз взад-вперед по длинной вроде коридора комнате, спросила:

— Ну, как?

Маша не знала, о чем ее спрашивают, и наугад ответила:

— Очень плохо, дальше некуда: пусто в классах.

— Знаю, — кивнула Женя, продолжая водить Машу по комнате. — Потому тебя и вызвали. Не можем мы бросить детей на произвол судьбы. Какие бы ни жгли морозы, как бы голодно ни было, они должны учиться и учиться. Коли дети сами не идут в школу, пойдем к ним мы. Ясно?

— Не совсем.

— Мы тут решили, а райком партии нас поддержал, создать в глухих глубинках сеть временных школ. Тебя намечено послать... — Женя остановилась подле стола, взяла с него длинный список, поводила близко посаженными, по-птичьим яркими глазами сверху вниз и сказала:

— Ага, вот и Скворцова Мария. Тебя, значит, намечено послать в Кокоры. Деревушка домов на тридцать. Да вокруг еще несколько хуторов. По нашим прикидкам, там учеников двадцать наберется с первого по четвертый класс. Всех и будешь учить.

— Всех? С первого по четвертый! — оторопела Маша. — Да я только в первом и могу. И то кое-как. Вы, наверно, не знаете, что я без подготовки?

— Знаю, знаю. Мы здесь все про вас знаем. Школа в Кокорах и будет твоей подготовкой. В университеты после войны пойдем.

— Ой, боюсь!

— Вот этого не следует делать — бояться-то. Надо быть смелой. Смелость города берет. В Кокоры отправляйся как можно быстрее. Не сегодня-завтра. Считай: это твое боевое задание. Выполнишь — помогла бить фашистов, не выполнишь — не помогла. Трудно будет, обращайся прямо ко мне...

Через день по заметенной снегом лесной дороге тащилась Маша в Кокоры, за спиной висела на лямках котомка, в которой, кроме скудного девичьего добра и настряпанных бабулей подорожников, находились коробка цветных карандашей, несколько растрепанных учебников да пять или шесть школьных тетрадок — учебные пособия, какими располагала молодая учительница. Лес вдоль дороги стоял весь в куржаке, остекленелый, почти прозрачный, и не верилось, что он когда-нибудь отряхнется, отойдет и вновь зазеленеет. Перемерзлый снег сухо пересыпался под ногами, наждачно скрипел, в туманном воздухе позванивали хрустальные подвески — звенел заледеневший сам

воздух. Парное дыхание оседало иглами на барашковом воротнике и толстой шали. Холод давил и давил. А Маше было жарко. Жарко от ходьбы по сыпучему снегу, а еще пуще — от навалившихся новых забот и сомнений... Разыщут ли, выделят ли в Кокорах помещение под школу? Где взять парты? А классную доску? Учебные пособия? И будут ли ребята ходить в ее школу, стужа ведь повсюду одинаковая? А как у ней ничего не получится, не выполнит, провалит боевое задание комсомольского секретаря Жени — что тогда будет? Стыд и позор! Лучше сквозь землю провалиться.

Под школу выделили просторную, крепкую избу о двух комнатах: прихожей и горницы; обогревала их русская печь с плитой, стоявшая посередке, одним боком в горницу, другим — в прихожую. Со всей деревеньки натащили столов и табуреток, составили их заместо парт в горнице в четыре ряда, так чтобы каждый класс можно было посадить отдельно, навозили на санках дров, напиленных из старья. Кто-то не пожалел занавесок, повесили на окошки... В Кокорах колхоза своего не было, располагалась бригада, руководила ею Анна Петровна Вдовина. Сын Вдовиной, тринадцатилетний Никита, единственный мужик — работник на всю деревню, обстругал рубанком несколько тесин и сбил их в квадратную доску. Надо было выкрасить ее в черное. У Анны Петровны нашлась завалывшаяся с довоенного времени краска для хлопчатобумажной ткани, растворили ее в кипятке, подмешали сажи — и не то что б насквозь прочернела доска, но следок меловой принимать стала. Тот же Никита сколотил во дворе, поодаль от крылечка, нужник на два отделения.

Выходит, плохо еще знала Маша своих земляков, коли сомневалась в них. Ни в какой другой среде нет такого уважительного, такого благоговейного отношения к знаниям, к книге, печатному слову, как среди простых русских людей. Отец-мать недоедят, недопьют, не оденутся в новое, расшибутся в лепешку, чтобы только не хуже других снарядить свое дитя для школы, а само дитя никуда так радостно не летит на крыльях, как на первый школьный урок... Несть числа россиянам, выучившимся на медные деньги, — несть числа! На народных скрижалях топором вырублено: красна птица перьем, а человек ученьем; ученье лучше богатства; наука — верней золотой поруки; ученье — свет, а неученье — тьма; и нужны чрезвычайные обстоятельства — стихийное

бедствие ли, смерть ли, даже голод не по-меха, ибо на тех же скрижалях можно прочесть: сытое брюхо к учению глухо, — только чрезвычайные обстоятельства нужны, чтобы дитя либо его отец-мать вдруг добровольно отказались от этого волшебного света — ученья.

И вот в назначенный день и час, а по зимнему времени час был темный, дорассветный, завалились дружно в школу и сами ученики, все девятнадцать, коих Маша загодя переписала по деревне и близлежащим хуторам-выселкам. Печь дышала сухим жаром, на стене в прихожей ярко горела керосиновая лампа-молния. Лопотина на всех была разная: на том ватник, на этом шубейка ветхая, а на ином и пиджак с отцовского плеча, подпоясанный веревочкой; на ногах у одного валенки латаные-перелатанные, у другого закаменевшие гремучие ботинки, у третьего лапоточки скрипучие, лыковые, с онучами из мешковины до колен, а у кого-то на левой ноге — обрубленный опорок, на правой — старая калоша, подвезанная мочалом; в руках или на лямке через плечо холщовые в чернильных пятнах сумки, либо самодельные деревянные ящички. И лиц еще Маша не успела различить, по имени, фамилии узнать не успела, а уже горько полюбила всех разом, знала: жизнь за них положит, но никому не даст в обиду. Со сбившимся дыханием сгребла она детей в охапку и проговорила пылко:

— Ах вы, мои милые, мои хорошие!

Много ли, мало ли прошло с того дня времени: неделя, две, три, месяц? Маше казалось — вечность: так она свыклась со своими учениками, со школой, со всей деревней...

Зачинался новый день. Хотя даже не обутрело еще. Снаружи льнула к окнам лохматая тьма. В избе за ночь выстыло, стекла разрисовало узорчатыми папоротниками и серебряными пальмовыми листьями, в кадushке и умывальнике подернулась ледком вода.

Ранехонько прибежала в школу Маша, однако уборщица Эппа, эвакуированная изпод Ленинграда финка, — еще раньше. Она уже растопила плиту. Разломав в кадushке лед, наносила полную воды, залила в умывальник, а теперь, развернув из тряпицы пышный березовый веник, подметала в избе пол. Прибиралась она при том прыгающем куцем свете, который выбрасывало из плиты, — сэкономила керосин.

Крепко намерзлась Эппа в блокадном Ленинграде, до сих пор не может согреть-

ся, ни в жару, ни в холод не снимает с себя подаренного миром полушубка, не распутывает с головы толстой ковровой шали, меж вертикальных складок которой мучнисто белеет узкое, без единой кровинки лицо с провалившимися глазами.

Маша тотчас разделась. Повесила на крюк пальто, шаль. Потом погрела над плитой озябшие руки и тоже принялась за дело: поставила в ведре кипятить чай, дров подбросила в печку, сидя перед огнем на корточках, заточила цветные карандаши и разложила их вместе с нарезанными из обоев листочками вдоль левого ряда. В этом ряду располагаются первоклассники. Сегодня они начнут с рисования, а Маша тем временем поспрашивает старших.

Потянуло печным теплом. Синим набухли стекла, и, размывая тропический рисунок, потекли по ним слезы. На дворе светало. В избе тут и там стала выступать из тьмы немудреная школьная мебель: столы, табуретки, приставленная к стене черная доска на ножках, кадushка с набухшей от воды деревянной крышкой.

И вот уже слышатся под окном скорые летучие шаги. Скрип-скрип-скрип! — не бежит, летит кто-то, подгоняемый стужей. Шаги огибают избу, и вот уже скрипят со двора, на крылечке. Трещит голик — обметают снег с обуви. А в следующую секунду в клубах морозного воздуха заскакивает в избу Алеша Попов. Ревностный мальчик, всегда-то он первый прибегает. По Машиным ногам будто пастушьим кнутом хлестнуло стужей от двери.

— Здравсте, Марья Васильевна! Здравсте, Эппочка! — радостно приветствовал Алеша, скидывая лопотинку, шапку и вешая их на один из многих деревянных штырей, низко вбитых в стену рядом с входной дверью. Раздевшись, он подбежал к плите и протянул над ней свои красные гусиные лапки.

— Ап-чи! — чихнул Алеша и тотчас пожелал себе: — Сто рублей на мелкие расходы!.. Ах, и морозюка! Как бешеная собака кусается. А здесь Ташкент!

Сквозь застиранную и реденькую — только что не из марли — рубашонку проглядывали все его косточки, все ребрышки тоненькие, а когда он бежал к плите, за левой ногой проволокалась, мокро шлепая по полу, грязная, в прожженных дырках тряпка.

— Что это такое протащилось за тобой? — спросила Маша.

— А-а! — беспечно ответил Алеша, не взглянув даже на ноги. — Портянка! Пимы есть захотели! Каши просят.



— А пальцы не обморозил?

— Нет.

— Ну все равно снимай валенки. Попробуем померить их аппетит.

— Нет, нет! Что вы? — застеснявшись, запротестовал Алеша.

— Снимай, снимай! — строго приказала Маша, подставила к печке табуретку, взобралась на нее и, посунувшись грудью над вышарпанной кирпичной лежанкой, на которой любили в перемены сидеть дети, достала из-за трубы маленькую плетеную корзинку. Летом с такими по гривы-ягоды в лес ходят. Но не грибы-ягоды теперь хранились в ней. Хранились нитки, иголки, пуговицы, навошенная дратва, шило, ножик пе-

рочинный, ножницы, лоскутки разношерстных тканей, обрезки гнилой кожи, пузырек с йодом, аспирин.

На низенькой скамеечке пристроилась Маша перед огнем, взяла в руки Алешин валенок, повертела так-сяк, пощупала и горестно покачала головой — в прах рассыпался, не к чему и заплату приставить. Да, задала себе задачу Маша. И тотчас вспомнила она напутственные слова Евгения Платоновича, любимого школьного учителя, слова, произнесенные на выпускном вечере, но не с наставнической кафедры, не со сцены, а после скудного по военному времени застолья, на школьном крыльце, где окружили его, прощаясь, выпускницы в

белых кофточках, определенные уже все до единой в учителя.

— Учитель, батенька мой, все должен уметь делать, — говорил Евгений Платонович дребезжающим от волнения голосом, — и шить, и мыть, петь, танцевать, рисовать, готовить обеды, починять обутки — все, все, ведь на то ты и учитель, чтобы научить других.

Сам Евгений Платонович не брезговал никакой работой, так как прожил всю жизнь холостяком, вдвоем с престарелой матерью, от которой не только не было никакой помощи, но еще и самой приходилось во всем помогать. Высохшая, с трясущейся головой, она еле передвигалась от дряхлости. Однако в доме у них всегда было вымыто, выскоблено, прибрано, каждая вещь знала свое место, а сам учитель являлся в школу в неизменной черной тройке, на которой ни морщинки, ни пылинки, в белоснежной рубашке с черным же галстуком-бабочкой, седые волосы один к одному. Впрямь: все умел делать этот учитель!

По многу раз на дню вспоминала Маша его напутственное слово и с бодрим рвением снова и снова бросалась в работу: то сшивала из принесенных Вдовиной канцелярских бумаг ученические тетрадки, то штопала чью-нибудь рубашку, то ставила латку на дырявый валенок, то перебинтовывала чистой тряпичей ранку шалуна, приговаривая детское заклинание:

— У сороки боли, у вороны боли. У Алеши подживи, подживи!

...Заплата, наконец, пришита. Держа в зубах остаток навощенной дратвы, Маша протянула валенок хозяину:

— А ну-ка, примерь. Не будет ли где рубец давить?

Алеша обулся и, козырем пройдя по комнате и раз — другой притопнув ножкой, одобрительно проговорил:

— Лучше нового теперь!

Воздух в избе прогрелся, и вода скатывалась со стекол уже не отдельными капельками, а целыми ручейками. Она собиралась в желобках, выдолбленных в зимних рамах, а оттуда по тряпочкам стекала в подвешенные под окнами ржавые консервные банки. Почти совсем рассвело, во всяком случае в классной комнате можно было разглядеть не только доску, но и то, что на ней выведено неумелой детской рукой: «Мой папа на войне».

В прихожей сдержанно колготали ученики. В руках у каждого — кружка. Эппа поварешкой разливала заваренный смородин-

ным листом кипяток. Прежде чем поднести кружку к губам, ребята некоторое время грели об нее руки. Опорожненные кружки ставили вверх дном на кухонный стол: Эппа потом перемоеет.

Собралось человек десять, но в конце недели больше никогда и не являлось.

— Дети, звонок, — поднимаясь со скамейки, проговорила Маша и помахала над ухом рукой — будто бы в серебряный колокольчик позвонила.

Дети тотчас расселись по своим местам и смиренно сложили на столах руки. Задала Маша задание первоклассникам — нарисовать лето, кто его как помнит и любит, и приготовилась было спрашивать у старших урок по истории, как в прихожей снова закрипела оледенело дверь. Дети вмиг насторожили ушки, вытянули шеи, запереглядывались, и в глазах у них запрыгали веселые бесенята: она, Черепаха! И в самом деле через некоторое время в дверях классной комнаты встала Феня Мухлынина, ростом с веник, квадратная, толсто закутанная заместо шали в детское байковое одеяло.

— Где ты была, Феня? Почему опоздала? — с улыбкой спросила Маша.

— Я все шла и шла, — простодушно объяснила девочка.

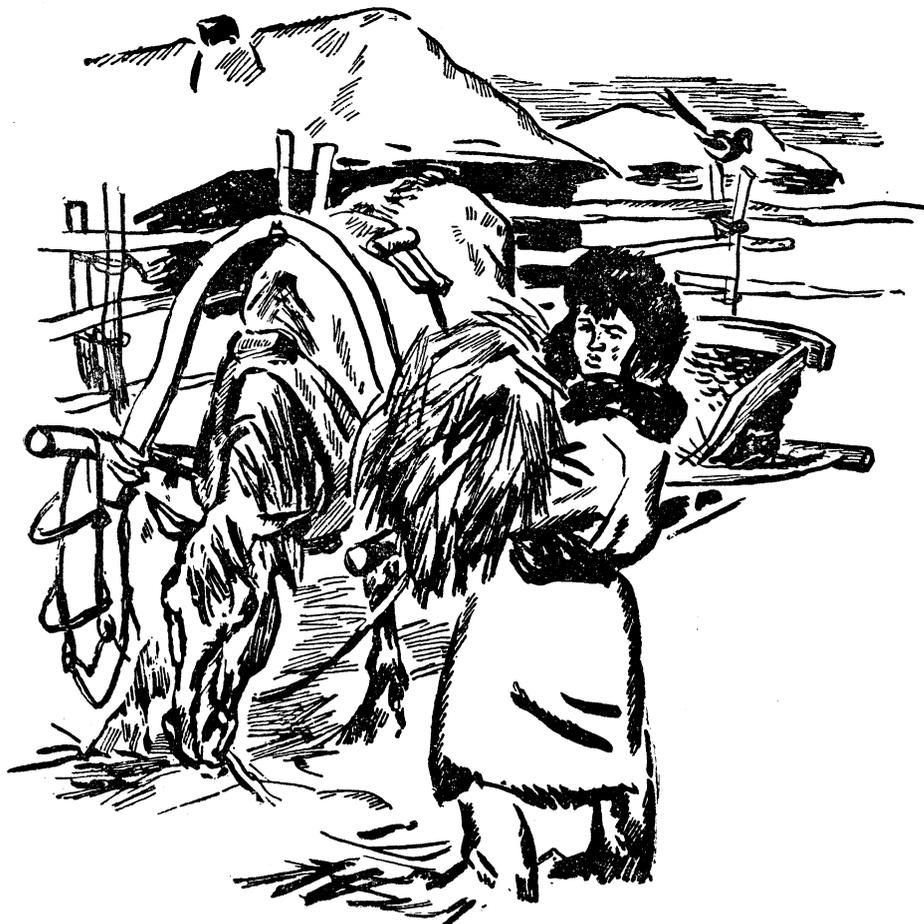
За партами взвился смех. Смеялись все — и старшие и младшие. Еще не было случая, чтобы Феня пришла на занятия вовремя. Маша каждый раз спрашивала о причинах опоздания, и девочка неизменно отвечала одно и то же: «все шла и шла», вызывая взрыв смеха за партами.

Веселились дети потому, что Феня говорила именно правду: раньше всех по утрам выходила из дому, но такая была медлительная, неповоротливая, такой обладала перевалистой, словно у раскормленной гусыни, походкой, такие маленькие шажки делала своими короткими ножками, что действительно все время ползла и ползла, и в школу приползала самой последней. И уж, конечно, за свою медлительность чуть не с пеленок была прозвана Черепахой.

— Надо еще раньше выходить из дома! — посоветовал кто-то.

— А лучше ей вообще ночевать в школе, — суровым голосом предложил Алеша.

Закутанная в одеяло голова девочки не крутилась, и поворачиваться Феня могла только всем телом. И она поворачивалась, мелко переступая ножками, то к одному ряду, то к другому, то к учительнице, согласно моргала глазами и тоже смеялась: характер у нее был покладистый.



— Ну, Феня, раздевайся и садись за парту.

И тут началось новое представление. Кто-то даже с табуретки привстал, чтобы не пропустить ни одного Фениного движения. Вот она присела. Положила холщовую сумку на пол. Выпрямилась. Зубами стянула варежку с правой руки. Снова присела, устроила варежку за сумку. Потом с другой варежкой последовала такая же канитель, после чего одеяло принялась распутывать с головы...

Маша с терпеливой улыбкой ждала, не подгоняла, ибо знала: проворнее Феня не может. А ребята за партами ахали, охали и выражали свое негодование в трех словах: «Ну и Черепаха!»

Наконец Феня перетаскала по частям одежонку на вешалку, подняла с полу сумку и заковыляла, переваливаясь, к своему месту. На затылке у нее болтались две жи-

денькие белые косички, перевязанные на концах мочальными лентами.

— Вот что, Феня, — не дав ей добраться до парты, окликнула Маша. — Положи сумку и иди к доске отвечать урок.

Не поторопись Маша остановить девочку, села бы та за парту, и на сборы к доске снова ушло бы не менее получаса.

И вот Феня у доски. Деловито спрашивает:

— Какой урок отвечать, Марья Васильевна?

— Из истории.

— Месье Ольги! — бойко называет тему Феня и начинает рассказывать, и речь ее — в отличие от походки — льется быстро и весело:

— Муж Ольги, князь Игорь, много раз ходил с дружиной на древлян, чтобы брать с них дань. Древляне сказали: «Если повадится такой волк к овцам, то вырежет все

стадо». Сказали так древляне и убили Игоря. И стала Ольга мстить за смерть мужа. Чего она только ни придумывала! Одних древлян в землю живьем закопала, других в бане сожгла. Наконец напала на главный город врагов. Те затворились и не хотели сдаваться. Целое лето Ольга простояла под городом. Потом сказала: «Больше я не хочу мстить, хочу взять с вас небольшую дань». «Мы дадим тебе и мед и меха», — сказали древляне. «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, — сказала им Ольга, — поэтому прошу у вас немного: дайте мне от каждого двора по три голубя и по три воробья». Древляне обрадовались легкой дани, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали Ольге с поклоном. Ольга сказала им: «Вот вы уже и покорились мне». Потом она раздала своим воинам кому по голубю, кому по воробью и приказала привязать каждой птице за ниточку трут. А когда стало смеркаться, велела поджечь каждый трут и выпустить птиц на волю. Голуби и воробьи полетели в свои гнезда. Голуби в голубятни, а воробьи под стрехи. И загорелись в городе — где голубятни, где дома, где сараи и сеновалы. Не было двора, где бы не горело. И побежали люди из города...

Слушали Феню в благоговейной тишине. У старших от сопереживания загорелись глазенки, а младшие, оторвавшись от рисования, завороженно смотрели рассказчице в рот.

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» забирали ребят за самое живое, будто все то, о чем рассказывала Феня, происходило не за тридцать земель в тридевятом царстве, а разыгрывалось у них в деревне, и не когда-то, при царе Горохе, а вчера, сегодня, и героями, сокрушавшими врагов Руси, были их родные отцы, деды, а может быть, и они сами, бесстрашные сердца.

«И это прекрасно, что они так чувствуют, — взволнованно думала о своих воспитанниках Маша. — Ведь никто из нас дальше третьего колена не помнит и не знает своей родословной, и в таком случае пусть нам заменит ее русская история. И не потому ли все мы, старый и малый, так любим свою историю, что она — личная биография каждого из нас: и Фенина, и Алешина, и моя, и что все, что происходило в русской жизни, происходило лично с нами, только было очень и очень давно».

Никогда еще так активно не работала история на современную жизнь, как в годы

войны: точно родник с живой водой, вливали новые силы, поднимала дух, крепила веру в непрременную победу над заклятым врагом. Сколько их и прежде ходило на Русь: печенегов, половцев, татар, турок, шведов, немцев — не пересчитаешь всех, и все были биты, биты! Ни одному не покорилась гордая Русь, и после каждого нашествия, возродясь из пепла, становилась еще краше и могущественнее.

Рассказ об Ольгиной мести и у ребят вызвал мысли о другом, злободневном. Не успела Феня, получившая за ответ отличную отметку, добрести до места, как старшие в ее ряду все враз заговорили-заспорили: какую казнь определить Гитлеру, когда рано или поздно он будет схвачен.

— Пригнать друг к другу две березы, привязать его между ними за ноги и отпустить — вмиг надвое разорвут!

— В том-то и дело, что вмиг. Не помучится даже. Надо такую казнь придумать, чтобы с наше испытал... На муравейник посадить!

— Ну, муравьи тоже долго возиться с ним не станут. Разом огложут. Летось мы змею убитую на муравьиную кучу бросили, и полчаса не прошло, как от нее одна шкура пустая осталась, внутри все выели.

— Тогда раздеть донага и привязать в комарином болоте к дереву. Комары не топорятся, по капельке кровь сосут...

Неизвестно, сколько бы продолжался спор, если бы вдруг под окном не заскрипели под снегом окованные железом полозья. Ребята тотчас замолкли, вытянули шеи, заприподнимались с мест, заглядывая в оттаявшие окошки, — кто там? А там, за окошками, подъехал в розвальнях Никита Вдовин, сын кокорской бригадирши Анны Вдовиной.

— Тпр-ру, — сказал Никита лошади, вылез из саней, замотал вожжи вокруг столбика, который остался от забора палисадника, заткнул за красный кушак кнутовище и деланно взрослым шагом направился в школу. На крылечке он два раза громко сморкнулся и обил нога об ногу с валенок снег. Через минуту Никита в классе. Вошел без спроса. В пышной собачьей шапке — лица не видно, в больших валенках, в полушубке до полу, перетянутом красным кушаком, за которым слева — кнутовище, справа — меховые рукавицы, и ростом не вышел — ни дать, ни взять некрасовский мужичок с ноготок. Держался сурово, важно, на учеников косился строгим взглядом. А те, в свою оче-

редь, признавая за ним старшинство и власть, взирали на него с почтением и страхом, а в глазах брата и сестры, Пети и Дуни, светилось еще и обожание.

— Здравствуй, Марья Васильевна,— огрубляя голос, произнес Никита, подтащил к учительскому столу табуретку и сел против Маши спиной к ученикам.

— Здравствуй, Никита. А с ребятами не хочешь поздороваться?

— Не заработали еще, чтобы с ними здороваться-то... Как тут мои неслухи? На головах, поди, ходят?

— Нет, почему же. Спокойные ребятки.

— Ежели что, сразу жалуйся. У меня есть чем поучить,— и тронул кнутовище за кушаком.— И чужих могу попотчевать, коли заслужат.

— Пока нет нужды, Никита, все хорошо себя ведут.

— То-то... За почтой в район поехал. Тебе завезти на обратном пути али сама в контору забежишь?

— Уж завези, будь добр, Никитушка.

— Завезу, мимо езжу...

Разговор иссяк, однако Никита все сидит, не уходит, бросает через плечо суровые взгляды на учеников, изредка грозит кому-нибудь пальцем; ученики притихли, пошевелиться не осмелятся, глаза опускают долу.

«Ладно, хватит запугивать детей»,— думает про себя Маша, оборачивается к окну и, широко раскрыв глаза, восклицает:

— Никита! А лошадь-то у тебя вверх спиной стоит!

Никита шапку в охапку и за дверь. Важности как не бывало. Ученики тоже повскакивали со скамеек и, словно воробьи, выпалили к окнам. Заиндевелая лошадь понуро стоит перед одиноким столбиком, из ноздрей в две струи пар валит.

— А что вы такое сказали про лошадь, Марья Васильевна?— спрашивает кто-то учительницу.

— Я сказала: лошадь вверх спиной стоит.

Ребята переглядываются друг с другом и ничего не понимают. Не понимают, отчего выбежал из избы Никита, почему сами повскакали с мест— ведь лошади всегда вверх спиной стоят. Глядят вопросительно на Машу, и она им с лукавой улыбкой разъясняет: Никита сорвался с места потому, что наверняка подумал, будто его лошадь стоит вверх ногами.

— И я так подумал!

— И я.

— И я.

Оказывается, все так подумали. Значит, учительница просто подшутила над Никитой. И школьные стекла задрезбужали от ребячьего смеха.

Вот, наконец, и Никита появился на улице. Встревоженно обежал вокруг лошади, заглянул под брюхо и недоуменно пожал плечами. На что учителька вытаращила глаза? Чему удивилась? На всякий случай подтянул чересседельник и перевязал вожжи на столбике. Ребята, наблюдая за ним из окна, веселились вовсю. Но стоило тому направиться обратно, как смех тотчас угас. Маша воспользовалась затишьем, чтобы навести в классе порядок:

— Быстрее, быстрее по местам. Давиду не показывайте, что смеялись. Вон ведь он какой грозный!

Побаивались дети Никиту, и когда он снова пришел в класс, глаз не смели поднять от столов. А он пришел, сел на прежнее место за учительским столом и хмуро спросил:

— Чегой-то сказала ты мне, Марья Васильевна?

— Сказала я: лошадь твоя вверх спиной стоит.

Никита похлопал голубыми глазенками, поскреб пятерней под шапкой заросший затылок, и вдруг его бледное скуластое личико озарилось детской простодушной улыбкой:

— Вон что!— хлопнул он руками по коленкам.— Вверх спиной! А я-то подумал вверх ногами моя кляча перевернулась. То и вылетел за ворота.

За его спиной запрыскали в кулак ребяташки. Никита оглянулся и по их веселым глазам, верно, догадался, что с лошадью его просто разыграли. Он насупился, поднялся с табуретки, вытащил из-за кушака кнут и угрожающе похлопал им по длинному полушубку.

— Плохо ты их учишь, Марья Васильевна. Никакой дисциплины. Посмотрю-посмотрю, да возьмусь сам за них.

И, не прощаясь, направился к выходу.

— Никитушка, на обратном пути, пожалуйста, уж загляни.

— Ладно,— смягчаясь, буркнул от двери Никита.

Из райцентра воротился он уже в сумерки. Как и при утреннем посещении, не раздеваясь, в шапке и с кнутом в руке прошел степенно к Машиному столу и выложил перед ней несколько газет. Помедлив немножко, вытащил из-за пазухи треугольный конверт и заявил учительнице:

— А за это сплясать тебе, Марья Васильевна, придется. За так не отдам.

— Вишь, что выдумал! — строго свела брови Маша. — Я же все-таки учительница.

— Сплясать! — стоял на своем Никита.

— Сплясать! — впервые взяли его сторону ученики.

Делать нечего, вылезла Маша из-за стола, подняла над головой согнутую в локте правую руку, пальцы собрала щепоткою — как бы невидимую газовую косынку прихватила ими и, раскружив далеко от себя прекрасные русые косы, прошла несколько раз перед суровым Никитой.

— Ну вот, давно бы так, — сказал он одобрительно, протягивая письмо, когда Маша остановилась и косы ее снова опали вдоль спины.

Письмо было от матери, без марки и почтового штемпеля, посылалось, верно, с оказией. Мать наказывала, чтобы Маша на воскресенье непременно приходила домой (хотя она и без напоминания не пропускала ни одного воскресенья), ибо приехал, наконец, из госпиталя дядя Саша и сейчас со всей своей семьей, женой и пятимесячным сыном, гостит в их доме.

2.

Обычно дети пребывали в школе весь день, от темна до темна. Здесь они и домашние задания выполняли. Лишь по субботам Маша выпроваживала их пораньше, еще на свету. По субботам она уходила домой, в свою деревню.

По сельским дорогам теперь ездили мало, все больше пешком ходили. Пешком на проводы и повстречанье. Пешком на похороны, пешком за хлебом насущным. Бойкие проселки превратились в дикие тропинки, зарастающие летом травой, зимой переметаемые снегом. А лесной проселок, по которому торопилась Маша домой, даже тропинкой нельзя было назвать — вихляющая цепочка глубоких проступей, продавленных самую же в снегу еще в прошлую субботу. Хорошо, в течение недели не было ни снегопадов, ни метелей, а то бы снова тащиться в уброд по целине.

По сторонам белыми пышными облаками клубились оснеженные деревья; когда следы заводили под их кроны, Маша в тревоге варежкой закрывала рот: не дай бог шевельнуть дыханием веточку — тотчас засыплет с головой, придавит, не выбраться.

Даже в самую лютую стужу жарко на убродных дорогах. Спина мокрая, в горле пересохло.

На середине пути, у подножия пологой длинной горы, прозываемой Липовой, к давним Машиным следам присоединился свежий, санный — проехали с дальних покосов сено, пораструсив его по разбитому снегу, поразвесив клочками на придорожных кустах. Идти сразу стало легче. Да и дорога тут совсем знакомая: не единожды ходили по ней с дедом на Липовую гору, где драли лыко для лаптей.

Летом на ее обочинах кудрявились, будто вязаные, белые и малиновые шапочки клевера. Среди них тут и там рдела крупная сочная земляника. Перед самым лесом куртинами стоял шиповник, благоухал алым цветом.

Где-то в этом месте сворачивали к горе. Шагов через двадцать натыкались на родничок, обложенный почерневшим деревянным срубом. В траве валялся свернутый фунтиком и защепленный ивовым прутиком берестяной ковшичек. Однако Маша им никогда не пользовалась. Встав на колени и опершись руками о сруб, пила прямо из родника. Так вода вкуснее. Колючими шариками она катилась по горлу, и в желудке сразу же становилось холодно-холодно. Близко перед глазами лежало выгнутое чашей дно. Вдымая песок и труху, тут и там буравили его упругие витые струи. Маша замечала, что каждый раз ключи били в другом месте, и это было чудесно и странно.

Застыл родник или нет в такую стужу? Маша приостановилась на секунду, потом решительно свернула с дороги и, по пояс утопая в снегу, побрела к горе. Удивительное дело! Не замерз родник! И не погребло его под снегом! Мрачно глядит дымящимся черным оком в серое низкое небо, и, как и летом, дно его буравят, шевеля песок и труху, витые ключи. И оттого, что не застыл родник, не укрылся белым пухом, как все вокруг, чудилось в нем что-то сверхъестественное, таинственное и жуткое. Маша круто повернулась и, падая на каждом шагу, побежала к дороге.

...Вспомнилось Маше, как, испив тут живой родниковой водицы, дед мгновенно преобразался: светлел лицом, на ногу делался прытче и тотчас заводил какую-нибудь старинную, чаще всего солдатскую песню. Будто не в воде обмочил усы, а в сладкой медовухе.

Диковинный дед! Не соскучишься с ним!

На ногах — лапоточки собственноручной работы, на плечах — длинная холщовая рубаха распояской, из-под которой выглядывают совершенно немислимые штаны, сшитые из матрасника в сине-красную полоску. Артиллерийская фуражка с красным околышем заломлена на затылок. Идет он меж деревьев — нос крючком, борода торчком — идет, приплясывая и притопывая, и выкрикивает звонким петушиным тенором:

Соловей, соловей — пта-ше-чка!
Кенареечка жалобно поет...

Липовый лес начинается с середины склона и тянется до самой вершины. Кора на деревьях растрескавшаяся, черная, как бы обуглившаяся, листва густая, сумрачная, слегка осветленная желтыми шишечками, оперенными такими же желтыми и узкими листочками-перышками.

Весной дед свалил тут десятка полтора не молодых и не старых лип, очистил от сучьев. Теперь с них надо снять железным крючком — кодачом шкуру, а от той в свою очередь отделить изнутри лыко. День для этой операции выбирался теплый, сырой и ветреный.

Дед говорил:

— Луб ветром откачивает, дождем отмачивает, теплом отпаривает.

Лыко нарезалось лентами и увязывалось в пучок — ношу. Для Маши делался пучок поменьше — полуноша.

Ближе к вечеру, взвалив на спину поклажу, спускались они с горы вниз, старый и малый. Дед опять песни играл, приплясывал, вскидывая над травой светлыми лапоточками, а внучка, глядя на него, заливалась на весь лес. И увесистое лыко было им не в тягость...

Уже завечерело, и в домах зажглись огни, когда Маша прибежала наконец в свою деревню. В избах топились печи. Дымные столбы стояли до звезд. От хлебов напахивало горячим навозом. И Машу радовал этот запах, как радовали расчищенные дорожки перед воротами, раструженное по обочинам сено и взблескивающие под луной санные следы — жива, значит, деревня, жива!

Вот и отчий дом — изукрашенный резьбой бревенчатый терем о трех окнах, с глухим крытым двором. Во дворе — ни снежинки, темно и холодно. Холоднее даже, чем под открытым небом. Крашенные половыцы после мытья горячей водой остекленели, и валенки скользят по ним, как на катке! Разогнавшись, едва перед крылечком устояла на ногах.

Маша была уверена, что застанет полную избу гостей, однако, кроме деда и бабки, никого там не обнаружила. При ее появлении бабка на секунду высунулась из кухни и тотчас снова скрылась за дерюжной занавеской. А дед, завидев любимую внучку, радостно затряс сивой бороденкой. Он сел на низеньком чурбаке посреди прихожей и плел лапти, вид у него был такой, будто в лес по лыко собрался: в полосатых портках, в рубахе распояской, глаза под лохматыми бровями хмельные, веселые. Песни только не хватало. Но Маша уже догадалась: будет сегодня и песня.

В левой руке держал дед деревянную колодку с тупоносим лаптем без пятки, в правой — железную ковырялку, которой протаскивал сквозь петли на недоделанном лапте лыковые строки. С десятка лишних строк валялось на полу. По всей избе хорошо, по-банному пахло свежим мочалом.

Не раздеваясь, проскочила Маша мимо деда, толкнула створчатую дверь в горницу, но и там никого.

— Опоздала, внученька, — виновато проговорил дед.

Заглянула Маша и в кухню. Бабка стояла к ней спиной и, согнувшись над лежанкой, что-то разглядывала при скудном свете лампадки, висевшей на медной цепочке в углу перед иконами. Бабка обернулась на шорох и приложила палец к ввалившемуся рту. И тут только Маша заметила, что на лежажке, прямо на лохматых овчинах, спит голенький ребенок — пятимесячный племянник Санюшка. Маша подивилась на его несоразмерно большой живот и шепотом спросила:

— А где родители?

Бабка замахала на внучку руками, выпроваживая ее из кухни, следом вышла сама и сердито прошамкала:

— Ой, господи! Че ты ек-то зашкакиваешь в отежде? Остудишь еще ребенка!.. Где, спрашиваешь, родители? — продолжала бабка. — Увезли, мила дочь. Приехал из районы на кошевке безрукий начальник и увез Лександра. Катерина за ним увязалась... Безрукий безногого увез. Снова председателем ставить собираются. Знать, не дело пытаются, а от дела лытают. Хоть бы дали ногу-то зажить как следует.

О матери Маша не спрашивала. Мать денно и ночью торчала на ферме: начались отелы, надо было раздавать коров и глядеть в оба, чтобы не заморозить сырых теллят в продувных коровниках. Да и с кормами было плохо — из-под снега выгребали.



— Баня истоплена.— сообщила старуха.— Мать белье припасла, на кровати где-то лежит.

В самом деле, рядом с горой подушек под кружевной накидкой лежало завернутое в полотенце чистое белье. Маша сунула его под мышку и убежала в баню. Воротилась через час, красная, распаренная, с побелевшим от банного изнеможения носом и капельками пота на верхней губе, встала в горнице перед зеркалом и, клоня голову

то вправо, то влево, долго расчесывала свои густые волосы.

На столе стояла глиняная кружка с молоком, накрытая картофельной шаньгой, но от усталости даже аппетит пропал, и Маша без ужина забралась в постель. Господи, как хорошо! Тело в сладкой неге, а на душе — покой и умиротворение. И не чувствует себя Маша больше учительницей, чувствует маленькой девочкой, школьницей, которой завтра не надо идти на уроки.

Наутро Машу разбудили голоса, смех. Она открыла глаза. За оледеневшими стеклами светало. Посредине комнаты, спиной к столу, сидела мать и приглушенно смеялась, закрывая рот рукавом дубленого полушубка. Наверно, только что вернулась с работы, не успела раздеться. Против нее, прижав к высохшей груди Санюшку, стояла бабка. Уткнув в пеленки кривой нос, блестя темными азиатскими глазами, она тоже тряслась от беззвучного смеха. В дверях стоял дед, босой, в коротких, чуть пониже колен, исподних штанах, в распущенной рубахе, поверх которой на груди темнел маленький нательный крестик. В его всклоченной бороденке дергалась сконфуженная улыбка.

— Полно вам, бабы,— не слишком настойчиво, безнадежно упрасивал он.

— Что случилось? Смешинка в рот попала?— спросила Маша.

Насмеявшись вдоволь, мать и бабушка, наконец, поведали, что тут произошло, куда она спала.

Вечером дед запросил бражки. Точно, Маша сама слышала, как это началось. Не перестал дед канючить и после того, как она заснула. Но бабка была неумолима. И дед, наконец, понял: мольбами и унижениями ее не возьмешь. Можно лишь обойти умом или хитростью. И надумал он набраться терпения и дожидаться, когда бабка свалится дрыхнуть. Вот тогда-то он и доберется до ее запасов— не одну кружку выпьет! Вздумано— сделано. Отложил инструмент в сторону, задул свет и взобрался на свою лежанку, устроенную тут же, в прихожей, на окованном железом огромном сундуке, взобрался, укрылся тулупом и, задрав кверху бороденку, притворно захрапел на всю избу.

Однако бабка еще не думала укладываться. Во время перебранки с дедом пробудился Санюшка. Она попыталась снова его убаюкать, но разве может человек, хотя ему отроду всего пять месяцев, только и делать, что спать да спать? Не может. И внучек, слушая бабкины песни, открыл розовые десна, заулыбался во весь рот, стал пускать пузыри, гукать, скать ножками и ручками. А не искупать ли его?— осенило бабку. После купания дети крепче спят. К тому же за заслонкой в печке стоит полный чугунок горячей воды— не пропадать же зря. И зашустрила бабка. Притащила из сеней стиральное корыто, перелила в него из чугуна воду, попробовала сухим локотком, не шибко ли горячо, развела слегка холодной

и окунула, не раздевая, Санюшку. Все складочки промыла, чистой водой окатила и, вынув из корыта, в свежую пеленку завернула. Как и надеялась старая, внук тотчас перестал гукать, заснул. Пора бы и самой на боковую. Ан нет, никак не угомонится, все возится. Сбросала в корыто пеленки, распашонки, свивальники и с полчаса жулькала их в мыльной воде, а напоследок вытащила из-под лежанки комки испятнанных пеленок и тоже перестирала их. По всей кухне навесила сырых тряпок. Грязную воду не захотела среди ночи выносить из избы— наутро дед вынесет, слила ее обратно в котел и, накрыв заслонкой, задвинула в подпечь, чтобы впотьмах кто-нибудь не опрокинул на бок. И только после этого, перекрестившись в угол на жаркие, в начищенных окладах, иконы и загасив лампаду, опустилась, кряхтя, на свою лежанку, опустилась, поворочалась минуту— другую, принаравливая старые кости к буграм и ямам на овчинах, и вдруг, перестав двигаться, прерывисто засвистела, забулькала носом— будто фарфоровый чайник на плите закипел.

А дед уже давно поднял над сундуком голову и чутким сухим ухом ловил каждое бабкино движение. Как только запосвистывал чайник— верный признак того, что бабка заснула,— он тотчас скинул с себя тулуп, опустил с сундука босые ноги, нащупал холодный крашенный пол, распрямился и на цыпочках прокрался в кухню. Обшарил там все полочки, все углы, сползал даже под бабкину лежанку и нигде— кикимора ее в бок!— не нашел того, что искал. В последний момент он подлез с головой в подпечь и— о радость, обнаружил!— вот она, бражка, в котле чугуном, прикрытом заслонкой! Схватил дед с кадушки литровый ковшик, упал перед чугуном на колени, зачерпнул полный и, торопливо ткнув собранными в щепоть перстами в правое и левое плечо, задрал кверху бороду и большими жадными глотками опорожнил, не переводя дыхания, ковшик! Опорожнил и стал прислушиваться к себе, ожидая божественного разлития по всему телу. Но разлития не происходило. Это показалось деду подозрительным. К тому же во рту пахло псиной и язвилось, выкручивало язык. Дед забеспокоился. Знать, не на медовуху напал, на что-то другое. Может, на квас? Но отчего он мылом-то воняет? Сплюнул дед, стукнул, уже не остерегаясь, в досаде ковшиком по полу. Бабка даже не пошевелилась. Всегда так: не спит, не спит, а как свалится— из пушки не раз-

будишь. Тогда дед еще раз зачерпнул из чугуна, чтобы в конце концов все-таки опознать напиток. И в конце концов расчухал!

Остатки из ковшы дед в бешенстве выплеснул на спящую жену.

— Вставай, старая сова! Крючконоса ворона! Чем ты меня опоила, заклятая вражина?

Бабка, наконец, пробудилась, поднялась с лежанки и засветила лампаду в углу.

— Ну-ка, что ты там выпил, бессонный сыч? — с любопытством говорила она, ничуть не испугавшись угрожающих воплей разъяренного супруга. — О-о! — весело всплеснула она руками, заметив на полу перед печкой раскрытый чугунок с помоями. — Вон что хлебнул! Ну, с этого не разорвет тебя. Не будешь блудить по ночам, кот-ворюга.



Бабкины насмешки вконец вывели из себя старика. Как из пращи выстрелил — вскочил на ноги. Выставил вперед кулаки. А бабка, чтоб пресечь агрессию, выхватила из зыбки проснувшегося от шума внука и оградилась им. С внуком на руках не то что дед, сам господь бог был ей не страшен.

— Славно, Саня, ангел мой, угостили мы дедуню, дурака старого! — посмеивалась бабка, прижимаясь морщинистым лицом к разгоряченному сном сладенькому тельцу ребенка.

Дед, бормоча проклятия, вынужден был отступить на исходную позицию — на свой сундук в прихожей.

...Туда же удалился он и теперь, чтобы не слышать бабьих насмешек. Не языки у них, а шилья. Не поберегись — до смерти затычут. Когда в горнице женщины умолкли, он с сундука взмолился жалобным голосом:

— Христом-богом молю: не вздумайте на улице сорокам рассказать. Изведут, трещотки!

— И надо извести, — безжалостно ответила бабка.

Между тем совсем рассвело. Зашумел в кухне самовар. Мать принесла его на стол, и все четверо сели «чайпить», как говорят на Урале. Чай был морковный, пили его с сахаринном. Потом долго во рту чувствовался купоросный привкус, будто провел языком по старой позеленевшей меди.

После завтрака Маша перетащила из бабкиной кладовки во двор, за поленницу дров, несколько замороженных кругов молока, шматок сала, кулек отрубей и горстку морковного чая. Потом слезила на чердак, срезала со стропил пару новеньких твердых лаптей, припасенных дедом на продажу, и переправила их тоже в тайник за поленницу.

В продолжение дня дед с бабкой ссорились не переставая, будто за долгую жизнь так осточертели друг другу, что бок о бок уже и сосуществовать не могли. Но вот бабка, усыпив внука, убрела на край деревни к подружке в гости, и дед тотчас пал духом, затосковал, захныкал, то выскакивал через каждые пять минут за ворота, то выглядывал в отогретое дыханием влажное окошко на замерзшем окне. Дело валилось из рук.

— Куда запропастилась, непутевая? — чуть не плача, бормотал он. — Ишь, не сидится дома. Молодой бегала, задрав хвост, и теперь носится, выпучив глаза. Стреножить надо да приковать к железной крова-

ти, только так и заставишь сидеть дома со- роконожку.

Однако, когда в потемках бабка воротилась, он и виду не подал, что лихо тосковал тут без нее, и, как ни в чем не бывало, снова устроился на чурбак и принялся плести лапти.

Чтобы не опоздать к урокам, на следующее утро Маша поднялась раним-рано: вся деревня еще спала. Мать с вечера собрала ей котомку, в которую, кроме чистого белья, положила немножко хлебца и насыпала картошки. В котомку перекочевало и содержимое тайника. Под завязку нагрзулись мешок. Но своя ноша не тянет.

После избяного тепла мороз на улице прохватил сразу до костей, будто и не было на ней никаких одежд. На аспидно-черном небе студено горели звезды, а голубая луна мерцала, как кусок льда. Невыносимо потянуло обратно в тепло, но Маша преодолела себя и решительно зашагала по скрипучей дороге прочь от дома.

3.

— Здравствуй, Эппочка! Что новенького в школе? Все ли живы-здоровы?

— Здравствуй, Мари,— радостно всполошилась уборщица, сидевшая на корточках перед топившейся плитой...— Все, все живы! Скоро соберутся.

— Ну, и слава богу. Помоги-ка снять котомку. Надо успеть болтушку сварить.

— О, снова полный мешок! Все, наверно, уже перетаскала из дома? Не жалко тебе родных?

— Родные у меня старенькие. А ребята там расти да расти.

На бревенчатых стенах плясали багровые отблески. Ало отсвечивали замерзшие стекла. В полстены расплзлась Эппина тень. А когда уборщица распрямилась, тень, переломившись, надвинулась и на потолок.

Круги молока Эппа вынесла на мороз, а котомку подтащила за лямку к печке и, вооружившись ножом, принялась чистить картошку. Эту несложную операцию она продельвала с таким искусством, что очистки, стружкой выползавшие из-под ножа, были не толще папиросной бумаги и перед огнем розово просвечивали на срезях. Очистила два десятка картофелин, достала из мешка еще одну, но, подержав в руке, сунула, жалеючи, обратно. Очищенную картошку

вымыла, раскрошила на фанерном листке и, разделив на две равные кучки, ссыпала в ведра, клокотавшие кипятком на плите. Потом бросила туда же по кругу молока, насыпала отрубей, добавила лучку, сухой травки, и сразу по всей избе волшебным запахом свежей похлебкой. В ту же минуту, будто учуяв этот запах, под окнами затопотали, заскрипели по снегу шаги. Топотало множество ног. Казалось, сбегалась вся деревня. Морозно заныло крылечко. И вот уже в клубах студеного воздуха толпа ввалилась в избу... Конечно, не вся деревня, но ученики, считай, все.

По понедельникам, какая бы на дворе ни лютовала погода, пропусков не было. Ребята знали: в понедельник Мария Васильевна воротится от родных, принесет с собой съестного, и перед началом уроков каждому достанется по порции горячей, ароматной болтушки. Принесенных продуктов хватало еще на одну, от силы на две болтушки, и до среды за партами не пустовало ни одного места. В четверг кипятили чай: морковный ли, смородиновый или брусничный, словом, такой, какой Маше удавалось выкрасть у бабушки с божницы, и уже в классе недосчитывалось нескольких человек. А в последний день недели, в субботу, когда и заварки не оставалось, едва собиралась половина учеников.

Ребята топтались у порога. Чуя запах болтушки, шмыгали простуженными носами, торопливо здоровались, торопливо стягивали с себя одежонку. Среди других голосов Маша узнала и Лешин голос и вспомнила про лапоточки. Вынула их из котомки и позвала:

— А ну-ка, Леша, иди сюда.

В сквозной подпоясанной косоворотке выбежал из толпы Алеша, увидел в руках учительницы новенькие лапти, ахнул от восторга и, не веря в свое счастье, попятился назад.

— Бери, бери. Это тебе.

И он, счастливый, в обе руки взял драгоценные обутки и прижал их к груди.

— Примерь.

Леша махнул правой ногой, разношенный валенок взвился под потолок. Таким же манером расстался и с другим пимом, отслужившим свой век. Лапти надевать — не щипать хлебать. Тоже уметь надо. Алеша знал эту науку. Вот он поверх портянок вперекрест затянул оборами голень, распрямился и притопнул ногою — эх, хороши лапоточки, сами в пляс просятся, удержу нету!

— Спасибо, Марья Васильевна.

— Носи на здоровье, Лешенька.

— Я только в холода в них побегаю, а как растеплеет, в сундук спрячу. Чтоб на всю жизнь хватило!

— За жизнь, Лешенька, еще и в сапогах хромовых находишься. И в ботинках, и в туфлях модных. Вот победим врага, и все у нас будет. Все, все! Так что не жалея лаптей, носи!

Школьный народ сошелся весь. Даже Феня Мухлынина была тут, хотя притащилась, разумеется, самой последней — на то и Черепаха.

— Ну, ребята, разбирайте посуду и подходите по-одному, — призвала Эппа и, вооружившись поварешкой, встала у плиты.

Посуда у всех была разная — у кого чашки, у кого плошки, у кого кружки. Как ни хотелось ребятам есть, никто из них, сломя голову, не бросился к ведрам. И в этот момент не оставляла их крестьянская сдержанность. Однако действовали безошибочно и расторопно. Никто в потемках не перепутал посуды. Вмиг перед плитой вытянулась сосредоточенная напряженная очередь. Перед тем, как зачерпнуть поварешкой, Эппа всякий раз взбалтывала похлебку. Гуща от этого распределялась поровну. Ели за партами. Кто хлебал ложкой, а кто пил через край прямо из миски. За окнами светало. И Маша могла видеть, как на лицах едоков сквозь мучнистую бледность пробивался робкий румянец. Горькая радость теснила грудь: наелись, не наелись, а все сил прибавится, и на уроках будут хорошо слушать. В те дни, когда болтушки не было, слушали плохо, рассеянно, от слабости роняли головы на парты и засыпали.

Не успела Эппа опростать ведра, как посуду понесли обратно. Миски были вылизаны до сухого блеска — и мыть не надо. Эппа все-таки столкала их в ведра и залила водой. На улице рассветало.

— Начнем, — сказала Маша, и дети послушно расселись по своим местам, и тут только она заметила, что одного все-таки не хватало — Бори Стручкова из четвертого класса. Маша вспомнила, что не было его и в субботу и в пятницу. Никак заболел. Ведь прежде он никогда не пропускал занятий.

— Борю Стручкова никто не видел? — спросила Маша.

Ребята промолчали — значит, не видели, решила она, и немудрено, ибо жил Боря на отшибе, в колхозной кузнице, одиноко стоявшей на краю поля в полутора километрах от деревни. Вечером надо провести его.

После уроков Маша увязала в платок

краюшку хлеба, пару яичек, несколько картофелин и, сунув узелок за пазуху, вышла во двор. Густо валил снег, потеплело. Мутно мерцала скособоченная за снежными струями луна. Маша направилась в конец деревни. Под ногами оглушительно шумел снег, но стоило остановиться на секунду, сразу обнимала глухая первозданная тишина, и только слышно было в эту секунду, как шуршали снежинки, усаживаясь возле уха на воротник.

Плохо утопанною тропинкой Маша прошла березовую рощу и увидела кузню — черное приземистое здание с заколоченной крест-накрест дверью и темным зарешеченным окошком. Чуть поодаль стоял вольно, ничем не огороженный жилой дом, окошки его желто светились. Вокруг кузни тут и там торчали из снега зубастые бороны, конные грабли с высоко поднятыми решетчатыми сиденьями; на высоких железных колесах, на которых буграми намерзла осенняя грязь, покоилась сеялка.

Тропинка к дому вела через станок дляковки лошадей. Передние столбы, изгрызенные испуганными животными, походили на фигурные балясины. Перекладины на столбах, к которым привязывают лошадиные ноги, сами столбы, деревянный пол засыпаны снегом. Давно уж не ковали тут, а дерево все еще пахнет конским потом.

Мертва кузня. Некому раздуть в ней огонь, некому вздывать молот, ворочать клещами, призывно звенеть железом, некому сеялку, грабли отремонтировать — ни одного мужика в деревне не осталось.

Дверь из избы выходит прямо в чисто поле — ни сеней, ни крылечка, сожгли ли, так ли было, однако Маша идет не к ней, не к двери, а почему-то сворачивает по глубокому снегу к светящемуся окошку. Поднеся к глазам руку в шерстяной варежке и притаив дыхание, с опасливым любопытством заглядывает внутрь. Малиново просвечивая помятыми боками, топится у порога железная печка. На голом столе в жестяной плошке дымно горит тряпичный фитилек. Голые полы, голые стены. Посреди избы, скрестив на груди руки, недвижно стоит худая женщина в повязанном по-старушечьи черном платке, щеки провалились, даже тени лежат во впадинах, глаза тупо уставились в одну точку. Спит ли с открытыми глазами, молится ли — не поймешь. Одеревенела.

Маша тихонько постучала. Женщина встрепенулась и посмотрела в окно. Ничего там не увидела, подумала, вероятно, на ве-

тер — принесся с поля и стукнул наличником, наполовину оторванным от стены.

Маша постучала в другой раз, уже погромче. Женщина пошла к двери. Скрипнула оледеневшая петля. На снег пала полоска света. Дверь приоткрылась чуть-чуть — только голову просунуть, дальше ее не пускал сугроб. Маша обмела рукавицей валенки и протиснулась в избу. Назвалась:

— Борина учительница я. Мария Васильевна.

Хозяйка на это ничего не сказала. Несмотря на раскаленную железную печку, в избе было холодно. Под потолком тонкими прядями качался дым от плочки-коптилки. В углах таился непроглядный мрак. Оглядевшись, Маша увидела две нечесанные русые головки, свесившиеся с холодной печи. Мальчик и девочка с прозрачными чумазыми личиками во все глаза рассматривали гостью. А Бори нигде не было. Машу так и подмывало спросить: а где же старший, где же Боря? Но она почему-то не спрашивала, будто боялась своего вопроса.

Женщина молча вытащила из-под стола табуретку и поставила против гудящей печки, от которой с треском отскакивала окалина. Но Маша не села. Собравшись с духом, она спросила:

— Вашего Бори с четверга не было в школе, заболел или в гости к кому-нибудь отправили — не видно что-то в избе?

Хозяйка странно взглянула на Машу, и будто что взорвалось в ней: быстро-быстро заговорила — заторопилась, и голос у ней был бодрый, даже веселый:

— А вы и не знали? Ведь умер наш Боренька-то! Умер. В субботу еще. А сегодня мы его как раз и похоронили. Земля тяжелая, неглубоко закопали. Летом надо будет перекапывать.

Маша содрогнулась вся. Содрогнулась от жуткой вести, а еще больше от бодрого, веселого голоса несчастной матери. Ноги подкосились. Упала на табуретку и закрыла руками уши, чтобы не слышать бойкого бормотанья полоумной. Потом Машу будто кто за плечи взял и затряс что есть силы — не удержишь зарыдала. А перед глазами стоял он, живой Боря, бледненький, русоволосый, как эти двое, свесившиеся с печки, с серьезным выражением ясных серых глаз. Ах, Боря, Боря! Как же так? Куда ты ушел, в какие недоступные дали? И уже кажется Маше: не было у нее милее и лучше ученика, чем Боря. Всех своих ребят видела Маша в будущем замечательными людьми, даже не просто замечательными, а прославленными

и великими: одного героем-летчиком, другого писателем, третьего изобретателем. Боря должен был стать прославленное всех. Он замечательно рисовал. Деревья, собаки, лошади, коровы на его рисунках были как живые — качались на ветру, лаяли, скакали во всю прыть, мычали, задрыв морды. Маша очень хотела, чтобы Боря непременно стал художником, а сам он, увы, мечтал о другом. Он спал и видел себя на тракторе в железном кресле; машина, послушная его руке, идет по неоглядному полю, а за ней ровными рядами ложится черная лоснящаяся земля, из которой тут же, прямо на глазах, поднимаются, вырастают колосья, и на них румяными булками висит хлеб. Хлеб, хлеб, хлеб!

Однажды на уроке рисования, раньше всех выполнив задание, Боря смастерил из двух катушек и резинки игрушечный трактор, и Маша, не довольная тем, что мальчик никак не отвяжется от своей скромной мечты, когда его ждет в жизни совершенно иное, более высокое призвание, отобрала до конца урока у него игрушку. Теперь, вспомнив об этом, она разрыдалась еще сильнее. Пусть бы он был трактористом, пахал землю, выращивал хлеб, только бы жил, жил, жил!

Машу перестало трясти, и она снова услышала радостно-оживленный голос:

— Хорошо нашему Бореньке. Счастливей он у нас. На серебряной дудочке теперь играет. И голодать больше не будет. Стыд сказать, грех утаить: радехонька была бы, кабы и этих господь прибрал, — кивнула на печку.

Нет, выше всяких сил слушать этот полоумный бред. Маша опрометью выскочила за дверь и, не разбирая дороги, побежала прочь. Очнулась уже далеко от кузни, в березовой роще. Пальто нараспашку, голова непокрытая, шаль за спиною бьется, лицо мокрое, а в руках узелок с подарком для Бори. «Как же так, не оставила его? Маленькие бы на печи съели!» — и страшно было повернуть обратно, страшно снова войти в голую закопченную избу, слушать бред несчастной матери, но все-таки заставила себя, повернула, добрела до одинокой избы в поле, по самые окна заваленной снегом, но внутрь не пошла, а привязала узелок к дверной ручке — выходить будут, обнаружат, и, всхлипывая изредка, тихо поплелась домой.

Ах, дети — чуткие сердца, сразу утром учуяли: что-то неладно с учительницей. Не колготали, не шумели, раздеваясь. До света за парты расселись.

Как им сказать? В горле застрял комок — не проглотить. Оторвалась от реснички слеза и на всю избу щелкнула по бумаге. Даже на задних скамейках вздрогнули.

В прихожей громко стукнула дверь, и в ту же секунду в класс ворвался Алеша Попов, ворвался в пальто, в шапке, с комками снега на новых лапоточках, с шальными глазами.

— Ребята, ребята! — кричал он, выбегая на середину класса.

У Маши вовсе сердце оборвалось: что еще случилось?

— Ребята! — кричал ликующе Алеша. — Что я сегодня во сне видел! Ух! Будто иду по нашему полю, и впереди на дороге лежит булка хлеба. Да большая-пребольшая, больше нашей школы! Я подкрался к ней на цыпочках и цап-царап в карман!

Маша неожиданно для себя рассмеялась. Из глаз одновременно потоком хлынули слезы.

— Алеша, подойди сюда, — позвала она, а когда испуганный мальчик приблизился, обняла его за плечи и, все еще смеясь, сквозь слезы проговорила:

— Ах, Алеша, милый мой мальчик! Да как же ты такую большую булку, с нашу школу, смог положить в карман?

— Не знаю, — заморгал глазенками, захлюпал носом Алеша.

— Вот тебе и сто рублей на мелкие расходы, — со смешком сказал кто-то в классе.

— Дети мои милые, я должна вам сообщить горькую весть. Осиротели мы с вами. Умер наш добрый дружок, наш братик Боря Стручков...

Дети, словно по команде, высыпали из-за столов, подбежали к учительнице, и она, раскинув руки, обняла их всех — впрямь осиротевшая одна семья.

«Нет, надо что-то немедленно делать, иначе все перемерут один за другим от голода. Но что, что?»

Маша раздвинула притихших учеников, прошла в прихожую, сняла с вешалки пальто, шаль, оделась на скорую руку и выбежала на улицу.

4.

К кому податься в районе, у кого просить хлеба? Конечно же, у того, кто послал ее в забытую начальством и богом деревушку обучать голодных детей, — у комсомольского секретаря Жени.

Ах, как она, комсомольский секретарь,

проводила Машу два месяца назад: из-за стола вышла, по-родственному за плечи обняла, напутствуя задушевным словом: «Трудно будет — обращайся прямо ко мне. Не робей и не стесняйся. Поможем. Ты теперь наша».

И вот Маше трудно, ох, как трудно, и пришла она за обещанной помощью, но отчего комсомольский секретарь даже головы не поднимает от казенных бумаг, закрывающую глаза вороненую косую челку не уберет со лба? Не признала, что ли? Недовольна чем? Или не понравилось что-нибудь в Маше? Не понравился горячий румянец на щеках, которому все нипочем — ни голод, ни холод, ни дальняя дорога.

— Что тебе, девушка? — мотнув головой, Женя откинула с глаз власяную завесу.

— Вы меня, наверно, забыли? — переминаясь у порога, робко выдавила из себя Маша.

— Почему же забыла? Я никогда ничего не забываю. Ты — Маша Скворцова, учительница начальной школы в деревне Кокоры. Не правда ли?

— Правда, правда, — радостно подтвердила Маша. — А в Кокоры вы меня направили. И когда проводили, говорили, чтоб за помощью я лично к вам обращалась.

— Положим...

— Три дня назад умер мой лучший ученик Боря Стручков. Умер с голоду. Мне нужно хлеба для детей, иначе и остальные перемерут.

— Ты что, Скворцова, с луны свалилась? Или забыла, что война идет? Что в эти минуты под Сталинградом решается судьба нашей Родины — быть ей или не быть, и весь хлеб идет туда, туда! Забыла? Политически незрелая просьба. И ничем я тебе помочь не могу.

Действительно, комсомольский секретарь ничем помочь не могла, так как хлебом в районе распоряжалась не она, распоряжались совсем другие люди, но сказать об этом прямо и что-нибудь посоветовать она не умела: боялась уронить авторитет в глазах рядового комсомольца.

От слов ли ее безнадежных, оттого ли, что со вчерашнего дня крошки во рту не было, обнесло у Маши голову, потемнело в глазах. На какое-то время даже сознавать себя перестала. Очувствовалась в холодных райкомовских сенях. Куда теперь? Неужто возвращаться в школу с пустыми руками? Нет, нет и нет!

Райком комсомола помещался в первом этаже старинного двухэтажного особняка,

верх у которого был бревенчатый, а низ каменный. Деревянная крашеная лестница с фигурными балясинами находилась как раз в сенях. Что там, наверху? Еще при первом посещении этого дома Маша углядела на его фасаде две вывески: райком партии и райком комсомола. Значит, на втором этаже мог быть только райком партии.

«Не уйду отсюда, покуда не вырву хоть немного хлеба!» — не сказала — поклялась Маша и шагнула на ступеньку, и тотчас ее обуял малодушный страх, будто не обыкновенные смертные наверху сидели, а вершили судьбами людей бессмертные небожители. Ее парализовал такой жуткий страх, что ради себя она бы его, наверно, ни в жизнь не одолела, а вот ради детей все-таки одолела.

Взобралась по крутой лестнице Маша на небеса. Огляделась. На площадку выходило несколько дверей. Она толкнулась в ту, на которой висела табличка с надписью: «Приемная».

Тут было жарко, от обшитой железом голландки тянуло настоящим зноем, широкие окна сияли прозрачно и сухо, и через них был виден весь мир: заиндевевшие деревья в палисаднике, толстые пушистые провода, коновязь на противоположной стороне улицы и привязанная к ней сивая длинношерстная лошадка, на которой Никита привез Машу в райцентр. Сам Никита находился тут же, у коновязи. Под ноги лошади он бросил из саней охапку сена и отвязал уздечку от дуги, чтобы лошадь могла дотянуться мордой до корма. Дальше за коновязью, за порядком низеньких под толстыми белыми крышами домиков виднелась железнодорожная станция, и тяжело дышал на путях одинокий черный и замасленный паровоз, выпуская вверх и по сторонам султаны седого пара.

В приемной боком к одному из окон стоял невысокий с подпиленными ножками сквозной столик и перед ним за лакированной машинкой сидела молодая белокурая женщина в белоснежной шелковой кофточке с крупными мужскими запонками на рукавах, в черной узкой юбке, в красивых туфлях на высоком каблуке, а ее белые фетровые валеночки грелись за печкой. «Из эвакуированных, наверно», — почему-то подумала Маша.

— Вы к кому? — поворотившись, с приветливой улыбкой спросила машинистка, и Маша, пораженная этой приветливостью, приободрилась слегка и не заставила долго дожидаться ответа:

— К товарищу Бродовских.

Она где-то слышала, что именно так называли самого главного человека в районе.

— Придется подождать. У Алексея Петровича сейчас люди. Разденьтесь пока и погрейтесь у печки. Издали ведь приехали?

— Почему вы так решили? — подвинулась Маша пронизательности машинистки.

— Я уже почти всех знаю в нашем городе, а вас ни разу не встречала, кроме того, видела, как вы из саней вылезали, — женщина кивнула на окно.

— А-а.

Маша повесила на вешалку пальто, шаль и встала у печки, не у самой, а чуть поодаль, потому что от нее дышало жаром.

Из-за обитой коричневым дерматином двери доносились сердитые отрывистые голоса. По всем приметам, разговаривали там крупно. И что-то очень долго. Под однообразный стук машинки время тянулось медленно-медленно. Наконец, дверь с треском отпахнулась, и выскочил из нее футбольным мячом толстый распаренный мужичок в начальственном френче темно-синего цвета. На бегу отирая платком пот со лба и короткой, в толстых красных складках шеи, он сорвал с вешалки черненький полушубок и был таков, даже руки в рукава не вздел.

«Вот так и я вылечу!» — вновь затрепетала Маша и с надеждой обратила взор на добрую секретаршу, а та движением тонких высоких, бровей указала ей на начальническую дверь: мол, входи, теперь можно, но Маша помнила, что первый раз женщина выразилась о посетителях во множественном числе: «люди», значит, в кабинете еще кто-то есть, — и не строилась с места.

— Проходите, проходите. Больше там никого. А «люди» — это уж такая формулировка, — разъяснила женщина.

За большим письменным столом, обтянутым зеленым ворсистым сукном, Маша никого не обнаружила. Хозяин кабинета стоял у окна, по-мальчишески узкоплечий, невысокого роста, в диагоналевой солдатской гимнастерке, пустой правый рукав которой был засунут под широкий кожаный ремень. «А, вон кто дядю Сашу увез с собой на кошевке», — подумала Маша, вспомнив бабкины слова: «безрукий безногого увез».

Глубоко втягивая и без того провалившиеся бледные щеки, Бродовских яростно сосал скрученную сигарку. Машиного приветствия он не слышал, не обернулся. Волосы на его голове были как снег, а брови —

молодые, черные. На скулах под кожей вспухали и опали злые желваки. Вон какие они, небожители. Все в Бродовских: и яростное курение, и пустой рукав, и трагическая седина, и злая игра мускулов — представлялось Маше суровым, величественным, преисполненным особого значения, и от очередного прилива страха у ней простудно заныли, задрожали в коленках ноги.

Много ли, мало ли прошло времени, обернулся наконец секретарь райкома, увидел онемевшую у порога незнакомую девушку, буркнул что-то вроде приветствия и, с силой вминая в стоявшую на подоконнике глиняную пепельницу окурков, коротко спросил:

— По какому делу?

Без дела в этот кабинет не приходили.

Ступив шаг вперед и прижав к груди руки, Маша торопливо принялась рассказывать, кто она такая и зачем явилась. Сознание того, что только этот человек может помочь и больше никто, побудило ее поведать и о Боре, какой он талантливый был, о его несчастной матери и о том, как радовалась эта мать смерти сына. Крупные слезы катились по Машиним щекам, но она не слышала их.

Секретарь райкома не дал досказать всего, оборвал на полуслове:

— Хватит! Разговор окончен! Все ясно! Хлеба нет. Ни зернышка. Еще осенью вывезли из района все, что можно было вывезти. А теперь хоть по коробам поскреби крылышком, хоть по сусекам помети — и на колобок с пригоршню не соберешь. Семенной фонд неприкосновенен. Как-нибудь там уж своими силами поддержите детишек.

Предчувствие не обмануло Машу: и она, подобно толстому распаренному мужику, выскочила из неуютного кабинета, не видя белого света. Бродовских даже попытки не сделал остановить ее, успокоить. Привык к чужим слезам, думала Маша, не с одним вот так на дню приходится расставаться.

Секретарши в приемной не было. Горячим лбом прижалась Маша к сухому прохладному стеклу. У коновязи лошадь, широко отставив переднюю ногу, подбирала губами раструшенное по снегу сено. Продрогший Никита вперекрест хлопал себя по бокам толстыми руками. На станции окутанный клубами пара истощно вскрикивал и запыленно пыхтел паровоз.

Дико и странно было сознавать, что в мире совершенно ничего не переменялось в то время, как у Маши переменялось все, все. Сколько она пробыла в той грозной

обители — минутку, две, три? Всего-то! И нет больше никаких надежд. Хоть головой о стенку бейся, ни крошки не добудет для своих сироток.

Всхлипывая, водила пальцем по стеклу: «Без хлеба никуда не уйду. Не уйду, не уйду, не уйду...»

Вдруг Маша почувствовала на своем плече мягкую теплую руку, обернулась, утирая платком слезы: рядом с озабоченным лицом стояла женщина в белоснежной кофточке. Неожиданно для самой себя Маша упала головой ей на грудь и, захлебываясь от рыдания, продолжала твердить одно и то же:

— Не уйду отсюда без хлеба! Не уйду, не уйду!.. Дети у меня с голода мрут. А ежели силой выгоните, под паровоз брошусь.

— Деточка, что ты такое говоришь?! Разве можно так? — сдернув с плеча руку, испуганно проговорила женщина, — пожалуйста, никуда не исчезай. Подожди меня здесь, я сейчас. Ему тоже нелегко...

И решительно стуча каблучками, секретарша направилась к обитой дерматином двери, безбоязненно распахнула ее и скрылась за ней. В кабинете пробыла совсем недолго. Воротилась с веселым лицом. Лукаво подмигнув Маше, сказала:

— Зайди-ка еще разок к Александру Петровичу... Ну-ну, иди, не бойся. Не съест он тебя. Он очень добрый.

Взмахивая левой рукой, Бродовских широкими шагами мерил по диагонали свой кабинет; так же по диагонали, из угла в угол, была протянута радужная домотканая дорожка, такая яркая, что не увидеть ее было просто невозможно. Однако первый раз, обуянная страхом, Маша ее даже не заметила. За спиной секретаря райкома болтался выбившийся каким-то образом из-под ремня пустой рукав.

— Садись вон туда! — приказал он и махнул левой рукой на свое рабочее кресло за письменным столом.

Маша как во сне исполнила приказание, села. Он тоже осадил перед столом и, сведя в узел на переносице смоляные дикие брови, сердито выговорил:

— Настырная! Чужал — не уйдешь. Молодец! Так и надо. Только про это... Как его, — и он весь сморщился будто от зубной боли, — про паровоз, выбрось из головы. Приказываю! Раз и навсегда выбрось! Жизнь твоя только начинается, порой будет еще солонее и — не смей и вспоминать об этом! Ясно?

— Ясно, — шмыгнула носом Маша.

— Ну, что мне с тобой делать? Как помочь? А помочь, поди, все-таки надо. Как хоть звать-то тебя?

— Мария Васильевна.

— Вот что, Мария Васильевна, — первый раз за все время улыбнулся секретарь и сразу вдвое помолодел от своей белозубой улыбки. — Подвинь-ка к себе бумаги, возьми вставочку и пиши... Сам-то не обвык еще чертовой рукой писать — так, вроде, левую-то костерят в народе. Не только писать, ложку держать как следует еще не научился.

Из латунной снарядной гильзы взяла Маша ручку, обмакнула перо в чернила и склонилась над белым листком. Снова зашагав по комнате, Бродовских продиктовал распоряжение на какой-то номерной склад — чтобы выдали там для учащихся Кокорской начальной школы два центнера зерна и два центнера картофеля.

Пока Маша писала, ее бросало то в жар, то в холод. Несколько раз она останавливалась, чтобы унять дрожание в руке, и тогда Бродовских подгонял:

— Пиши, пиши.

Отправляясь в район, Маша и мечтать не смела о таком богатстве, какое вдруг привалило. Самое большее, на что она рассчитывала — полмешка, от силы мешок отрубей. А с неба свалилось вон сколько — целых четыре центнера! Два — хлеба и два — картофеля. Астрономические цифры! Четыреста килограммов! Но кто ныне меряет хлеб на килограммы? Драгоценными граммами его взвешивают. Четыреста тысяч граммов! Чудо, чудо! Не во сне ли ей снится все? Ведь такое богатство до самой весны можно растянуть, вплоть до первой крапивной зелени. А перед крапивой, только сойдет снег, выведет она своих учеников на огороды. С каким бы тщанием прошлой осенью ни убирала картошку, начини перекапывать землю, обязательно еще что-нибудь нароешь. Ох, и вкусны драники из мороженой картошки!

Маша поставила точку. Бродовских взял из ее руки вставочку, осмотрел на свету перо и, левым боком наклонившись над столом и не перечитывая текста, поставил под ним подпись — выложил из горизонтальных и вертикальных палочек печатную букву «Б» и закрутил под ней причудливую виньетку.

— Ну, иди, пока не раздумал! — воткнув ручку обратно в латунный стакан и распрямившись, проговорил он, и в голосе его

прозвучало как бы раскаяние в своей немыслимой щедрости.

Не чужа от счастья ног, вылетела Маша из кабинета. Даже поблагодарить, попрощаться забыла. Впрочем, Бродовских сам виноват, так как его слова о том, что может передумать, Маша приняла на веру и спешила как можно быстрее исчезнуть из райкомовского здания. В приемной она бросилась на шею своей благодетельнице.

— Ой, спасибо вам!

Потом схватила под мышку одежду и — за двери.

Покуда Маша находилась в теплом помещении, на дворе еще больше настало. Мороз так и трещал, так и хватался за нос, щеки, голые запястья. «По такой стуже без теплого укрытия картошку не перевезти, тотчас в камень превратится. Завтра соберу по деревне овчинные тулупы, и Никита один съездит на склад. А сейчас скорее домой, домой. Хорошо бы застать детей в школе, то-то бы обрадовались!»

Никитина вислобрюхая лошадка, как неживая, обросла вся изморозью, под нижней губой висели желтые сосульки, а нарощенные снегом ресницы вокруг тоскливых глаз походили на белые опахала, и сам Никита приплясывал с ноги на ногу и ожесточенно бил себя по бокам толстыми руками в меховых рукавицах.

— Долгонько, Марья Васильевна, придержали тебя там, — опустив руки, ворчливо проговорил он и направился к саням. — Тулуп три раза заносил в избу, чтобы согрелся. Ежели снова настыл — не обесудь.

— Не беда, Никитушка. Сегодня мне своего тепла хватит.

Мальчик вытащил из сена скатанный з комок тулуп и, зайдя Маше за спину, развернул его на вытянутых руках. Маша влезла в широкие длинные овчины, и словно кто по рукам-ногам связал ее: ни присесть, ни поворотиться, ни шагу бодрого шагнуть. Боком упала в розвальни, подтянула за собою запутавшиеся в полах ноги и весело скомандовала:

— Расшевели-ка свою сивку-бурку, Никита! Надо бы детей еще в школе заставить.

— Эко чо захотела! — снисходительно буркнул возница. — На дворе уже темнеет, а она ребят мечтает увидеть. Дай бог, к полночи воротиться... В райкоме-то, чай, тебя не покормили?

— Где, где? — рассмеялась учительница.

— В райкоме, говорю.

— Ну, Никита, это же не столовая!
— Так я и знал, — осудительно произнес мальчик, полез за пазуху, вытащил завернутый в носовой платок ломоть хлеба с разрезанной надвое луковицей и протянул Маше. — Пожуй перед дорогой.

— Да ты что, Никита! — изумилась Маша. — Давай-ка съешь сам. Тебе мамка на обед положила, а ты раздаривать вздумал.

— И вовсе не мамка положила, а тут я разжился. Халтурка подвернулась: бабушку на рынок подбросил. Два куска отвалила! Один сам сжевал, другой тебе оставил. У мужиков как ведется? И есть — поровну, и нет — пополам.

— И этот съешь, дружок. Хорошие правила у «мужиков», но им больше и требуется.

— Хватит турысы на колесах разводить! — построжал Никитин голос. — Не возьмешь хлеб — не повезу. Лошадь даже отвязывать не стану.

— «Уж больно ты грозен, как я гляжу...»

— С вашим полом по-другому и нельзя: анархия будет... Ну как, поедем али померзнем еще?

— Поедем, поедем, — сдалась Маша и взяла протянутый ломоть, который, пока они торговались, будто солью посыпало.

Никита отвязал от коновязи понурую лошадь, продернул через колечко на дуге повод и, разобрав вожжи, взошел в розвальни. Садиться не стал, а встал в передке, широко расставив для устойчивости ноги и вытянув перед собой руки с вожжами.

— Ну, милая! — дружески понукнул он коня.

Толчком стронулись примерзшие сани. Запели по дороге полозья. Вспять побежали пушистые провода, деревья, изгороди, придавленные толстым снегом серые дома, в которых то тут, то там зажигались огни.

С головой запрятавшись в лохматый тулуп, жевала Маша вкусный подмерзший хлеб, хрустела горькой луковицей и затаенно прислушивалась к тому, что творилось у нее на душе. А на душе все пело и ликовало, и утверждалась в ней радостная уверенность в себя, в свои силы, а самое главное — во всю общую жизнь. Как прекрасен мир и какие чудесные вокруг люди! И Александр Петрович чудесный, нисколько даже не страшный, а его машинистка — просто добрая фея, ах, почему все-таки не спросила у нее имя-отчество? Какая-то власть у нее над секретарем райкома. Вон с какой быстротой повернула его, неуступ-

чивого и, видать, крепкого в слове, на Машину сторону, — припомнила Маша, и вдруг за всем этим почудилась ей какая-то волнующая тайна. «Ну и что? — тотчас застеснявшись своих мыслей, одернула себя девушка. — Ничего в этом плохого нет».

И чтобы не думать о чужой тайне, она стала думать о своих детях: то-то возрадуются, то-то запрыгают, узнав, какое счастье выпало на их долю. Теперь каждый-каждый день у них будет горячая похлебка и по ломтю мягкого свежего хлеба. Хорошо бы еще сегодня застать их в школе, чтобы спать они легли уже счастливыми.

Покуда ехали по накатанным улицам райцентра, она сдерживала свое нетерпение, но как только выбрались за околицу в поле, невмоготу стало плестись шагом, и она обратилась к строгому вознице:

— Никитушка, нельзя ли парку прибавить? Нельзя ли побыстрее? Стегани разок другой свою лошадку.

— Нельзя, Мария Васильевна, — наставительно ответил возница. — В лошадке от бескормицы еле жизнь теплится. Стегани ее разок — упадет без ног. А лошадку беречь надо. Весной на ней пахать, боронить, сеять. Упадет до весны — бабам, значит, в бороны впрягаться.

Рассудительные Никитины речи пристыдили Машу и заставили надолго замолчать. Дорога втянулась в лес. Здесь по-зимнему рано и ночь пристигла. Но от пышных белых снегов, навешанных на деревьях, было светло и нестрашно. Лес густой — в небе дыра. И в той дыре, прибавляя света, горели крупные колючие звезды.

Жалеючи, Никита лишнего наговорил на свою лошадку. Крепонька была еще кобылка, справная. Чуть дорога под уклон, сама сбивалась на бег. Но Никита тут же натягивал вожжи и осаживал.

На одном из таких уклонов, не вытерпев канительной езды, выпросталась Маша из тулупа, вскочила на ноги и, перехватив из рук зазевавшегося возницы вожжи, свистнула, гикнула на весь лес:

— Э-ге-ге! Расшевелись, сивка-бурка, вещий каурка! Чтоб из ноздрей дым, а из пасти пламя!

Испуганная лошадь взвилась вскачь. Замотались поперек дороги легкие санки. Не из тучи гром — загремели на нырках полозья, полетела в передок ископыт вельчиною с рукавицу.

— Эх, несись — земля трясись! — не Маша, а влезший в нее бес кричал и крутил над головой вожжами.



Но давно людям известно: скоро не бывает споро. Высоко подскочив на очередном нырке, сани вдруг сильно накренились на левый бок, правый полоз задрался в воздух, и Маша не устояла на ногах, опрокинулась в сугроб, вспахав его носом чуть не до земли.

Когда выбралась на свет божий и расчистила, разлепила глаза, узнала неподалеку от себя барахтающегося в снегу Никиту. А еще подальше стояла поперек дороги лошадь и с удивлением оглядывала своих седоков — они или не они, отчего вдруг стали толстыми и белыми, как снежные бабы?

— Совсем сдурела девка! — шапкой обивая с полушубка снег, беззлобно ворчал Никита. — Бусорью голова набита. Хуже школьницы ведешь себя. А ведь учительница, замуж давно пора. Сам намеревался, как война закончится, сватов засылать, а теперь вот подумать придется. Грехов не оберешься с такой балованной женой.

— Что?! Сватов?! — переломившись на двое, расхохоталась Маша.

— Чо смеешься-то? — рассердился Ни-

кита. — Чо такого смешного сказал? Давай-ка подотри сопли да падай в сани. А то стегану лошадь — останешься одна среди леса куковать.

И Маша вдруг поняла: не шутки шутил Никита, говоря о сватовстве, всерьез вбил себе это в голову. Ну и ну! Чего только не бывает на белом свете!

Она покорно влезла в сани, с головой закуталась в настывший тулуп и притихла, затаилась вся, как мышь. Отчего-то чувствовала она себя безмерно виноватой перед Никитой.

Снова запели полозья, снова мерно зашагала лошадь, на уклонках она опять пыталась перейти на бег, но Никита крепкою рукою удерживал ее. Чувство виновности прошло, а вместо него накатило неистребимое девичье любопытство: как, да что, да почему и вправду ли про сватов он раньше думал или все наврал негодный мальчишка? Раздвинув мохнатый воротник, Маша высунула наружу смеющийся глаз.

— Кхэ-кхэ, — прокашлялась. — Выходит, я тебе нравлюсь, Никитушка?

— Глянешься! — твердо ответил паренек.

— И за что же, интересно знать?

— Баская ты! Баще всех в деревне! Да что в деревне — во всем районе, во всем белом свете другой такой баской не сыскать.

— Ну уж и не сыскать? Еще получше бывают. Вот я сегодня видела...

— Не бывают! — убежденно отрезал Никита. — Не бывают! У кого еще есть такие косищи, длинные да пушистые? Или такие щеки, круглые да румяные? Ни у кого нет! Но главное не это. А главное то, что ты добрая до детишек...

Слушая его звонкий детский голос, Маша улыбалась в заиндевший от дыхания воротник и соображала: не зря, значит, по два раза на дню он появлялся в школе, не зря часами сидел за учительским столом, возил взад-вперед почту, да и вообще проявлял всяческую о ней заботу. Нет, надо отвадить мальчишку от школы. Чтобы и близ не подходил и чепуху всякую из головы выбросил. Ему тринадцать, а ей восемнадцать. Узнают в деревне — застыдят!

В Кокоры приползли поздно: не в полночь, конечно, но около того. Деревня спала мертвым сном: не взмычит корова, не стукнет подошник, не взвоет из трубы искра, за обмерзшими окнами — темень, темень, и улица пуста... И вдруг мелькнул огонек! Это в окошках школы прыгали багряные всполохи. Печку там что ли топят? Странно. Обычно Эппа коцегарит по утрам.

Возле школы Маша выпросталась из тулупа и прыгнула с саней. Никита прежним нехлестким шагом поехал дальше в конюшню.

Вступив в прихожую, сразу и поняла, почему в неурочный час плита топится: все ре-

бята были в сборе, не думали еще и расхотиться. Кто сидел на полу перед раскрытой печной дверкой, кто устроился на столах, кто свешивал голову с печки — сидели тихо-тихо, слушали сказку про бедового солдата, который огонь-воду прошел и жив остался. В придачу ко всему умел солдат суп из топора варить. Сюда бы такого молодца! Оттого, что Эппа перевирала почти все слова, сказка была еще интереснее.

Завидев учительницу, повскакали на ноги, поспрыгивали со столов, кубарем скатились с печки, и, точно на птичьем базаре, поднялся невообразимый гвалт и крик:

— Ура-а! Ура-а! Мария Васильевна приехала!

Маша хватала каждого по очереди, прижимала к себе, кого-то трепала за вихор, кого-то целовала в лоб и, взбудораженная новой вспышкой радости, со слезами на глазах повторяла одно только слово:

— Хлеб, хлеб, хлеб!

А дети прыгали, хлопали в ладоши и наперебой кричали:

— Ну что, Эппочка? Мы же говорили: Мария Васильевна привезет нам хлеба — и привезла, привезла, привезла!

Не дав Маше раздеться, подтащили ее к горячей плите, усадили на чеботарскую скамеечку перед огнем и заставили со всеми подробностями рассказывать о своей поездке. Ничего Маша не утаила от детей, все поведала: и про комсомольского секретаря Женю, и про добрую красивую машинистку из приемной, и про израненного, сурового Александра Петровича.

В прихожей бухнула входная дверь, и кто-то, откашлявшись, спросил с порога извиняющимся голосом:

— Дочку потеряла. Не тут ли она?

— Это моя мама! — узнала Феня и с крылатой вестью бросилась к порогу: — Мама, мама, а Мария Васильевна много хлеба для нас добыла!

Вслед за Феклиньей Никифоровной, Фениной мамой, с тем же вопросом явилась в школу мать Алеши Попова, а потом один за другим потянулись и другие родители, будто почувяли все: в школе произошло нечто необычайное. Ведь и раньше дети засиживались допоздна и никто за ними не приходил, а сегодня — надо же! — за всеми явились. Непременно почувяли! Изба набилась битком. Дети отступили в классную комнату, взрослые заняли прихожую, и Маша на третий, на пятый, на десятый раз рассказывает о своих приключениях. Любопытство родителей, наконец, удовлетворено, первая са-

мая острая радость уже пережита, и они начинают обсуждать, как теперь лучше распорядиться хлебом.

— Чтобы хватило до весны, надо в муку добавлять мякину или жмых.

— А еще лучше картошку.

— На хлеб да на похлебку не хватит картошки.

— Эх!— воскликнула Анна Вдовина, бригадир.— Коли уж секретарь райкома оказался таким щедрым, то мне, наверно, сам бог велел раскошелиться. Отвалю-ка и я школе картошки. По силам, конечно. Давайте, бабоньки, завтра переберем семенную, и всю подпорченную отдадим им.

— А кто будет хлебы печь?

— Эппа, поди, уборчица. На то и представлена к школе.

— Нет, нет,— в панике замахала руками Эппа.— Не умею. В жизни не пекла.

— Кто у нас самые лучшие хлебы до войны выпекал?

— Феклинья Никифоровна! Феклинья Никифоровна!— враз выкрикнуло несколько голосов.

— Вот и поклониться ей в ножки. Что скажешь, Никифоровна?

— А почему, скажу, не быть? Благодать хлебопеком быть: хоть и нос в муке, зато и кусок в руке — ешь, сколь хошь!

Бабы дружно рассмеялись, ибо знали: чужого Феклинья Никифоровна пальцем не тронет.

Неистребима потребность человеческой души в празднике! Кажется порой, и жить уже немоготу: голод, холод, непосильная каторжная работа, но душа все-таки выищет повод и, сбросив бремя забот, из ничего сотворит себе неурочный, не отмеченный никаким календарем праздник, и снова... «невозможное возможно», и снова жить охота!

Маша засветила в обеих комнатах лампы — грех в такой праздник экономить керосин. Женщины сидели вокруг кухонного стола и вдоль стен в распахнутых телогрейках, с опущенными на плечи теплыми платками, исхудавшие лица у них горели, глаза блистали, и Маша впервые обратила внимание на то, какие они все молодые и красивые, несмотря на худобу, ни одной, поди, нет старше тридцати, разве что Феклинья Никифоровна чуть постарше; им бы еще по гостям ходить, на гулянках выставляться, петь, плясать под хмельную гармошку, миловаться до свету с молодыми сильными мужьями. А они второй год без единого праздника, в бесперывной тяжкой работе: па-

шут, сеют, косят, мечут стога, таскают на себе мешки, доят коров, а когда к ночи, вляясь от усталости с ног, воротятся домой, там ждет их новая работа — латать личное хозяйствешко, которое одно только и дает кров и пищу. И муке этой не видно конца. Снесут ли, вытерпят ли? Снести-то снесут, но вот красоту свою и молодость сгубят навеки, не разменяв их на радость.

Дети, забравшись на печку, завели песню про орленка. Матери слушали их, вытянув шеи, со счастливыми глазами, а когда те замолчали, сами вдруг, не сговариваясь, затянули «Рябинушку». Грустная песня, наверно, не выразила состояния их души, потому что, только она оборвалась, встали две женщины, Анна Вдовина и Катерина Попова и, приплясывая друг перед другом, заиграли частушки:

Через речку, через Каму

Подай, милый, телеграмму.

Через темный лесок

Подай, милый, голосок.

Если первые частушки исполнительницы выкрикивали весело и задорно, то на последней у них задрожал голос. А дальше они и вовсе уже не пели, а скорее рыдали.

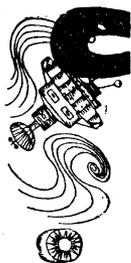
Чем бы закончилось это рыдание, может, к нему присоединились бы и остальные бабы, на глазах которых уже навернулись слезы, но в это время распахнулась дверь, и встал на пороге Никита, встал суровый, неподкупный, с кнутовищем, заткнутым за красный кушак, и свою огромную собачью шапку даже не снял. Вот кто был тут хозяином.

Анна Петровна, оборвав частушку на полуслове, застыла с разведенною рукою посреди комнаты и жалко, заискивающе улыбнулась сыну, но тот не захотел щадить ее.

— Что ж это такое, Анна Петровна? А? Завтра всем ранехонько вставать. Кому навоз возить, кому семена перебирать, кому в район за хлебом ехать, а ты тут песни пляски организовала.

— Праздник у нас нынче, Никитушка. Но не будем больше, не будем,— виновато проговорила бригадир и стала закручивать вокруг шеи концы шали. Потом она подошла к печке, заглянула на лежанку.— А ну-ка, где там моя парочка, баран да ярочка. Собирайтесь быстрее домой. Слышали — сам пришел? Будет всем нам сегодня на орехи.

Уходили все разом. На прощание Анна Петровна обняла Машу и крепко-крепко расцеловала.

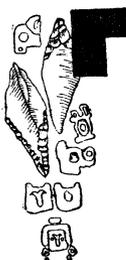


тысячного посетителя принял недавно музей калужской средней школы имени К. Э. Циолковского. В этой школе основоположник космонавтики в свое время преподавал физику и математику.

Следопытский музей создан в 1957 году, и первыми его посетителями были члены делегации Академии наук СССР во главе с академиком С. П. Королевым.

Обращаясь к ребятам, Сергей Павлович сказал тогда: «Друзья мои! С большим волнением мы переступили порог вашей школы, где много лет плодотворно работал Константин Эдуардович Циолковский. Образно говоря, входя в школу, мы стряхнули с обуви пыль земную, но пройдет немного времени, и у порога вашей школы люди будут сметать пыль космическую».

Сейчас в музее собрано около трех тысяч экспонатов, рассказывающих о жизни и научной деятельности К. Э. Циолковского, о достижениях советской науки и техники в освоении космоса.



Группа учащихся кишиневской школы № 56 под руководством археологов принимала участие в исследовании стоянки человека каменного века у села Рашков Каменского района Молдавии. Ребята нашли обработанные кремни, кости животных, обломки рогов северного оленя, отбойники, растирки для красок, плитки, служившие наковальнями. Среди множества предметов есть уникальные, например, рукоятка из рога северного оленя, в которую закреплялось кремневое орудие, скребла, резцы, проколки. Такие находки редко встречаются не только на территории Молдавии, но и в других районах страны.

По найденным предметам ученые установили, что обитатель рашковской стоянки охотился на северного оленя, сибирского носорога, зубра, медведя, коосулю. Значит, климат в те времена в этих местах был довольно суровым. Об этом свидетельствуют также и обнаруженные раковины хладолюбивых моллюсков. По-видимому, это было время последнего оледенения. Оно отстоит от нас примерно на двадцать тысяч лет.



Тридцать один год назад со станции Дема в Башкирии уходили на фронт эшелоны Башкирской кавалерийской дивизии. В годы Великой Отечественной войны эта дивизия прошла боевой путь от Волги до Эльбы. Недавно в Демском районе воздвигнут монумент. На нем надпись: «Героическим подвигам Башкирской гвардейской, Черниговской орденов Ленина, Красного Знамени, Суворова и Кутузова кавалерийской дивизии, прошедшей боевой путь от Сталинграда до Эльбы, посвящается...»

А первый камень монумента заложили следопыты школы № 104 города Демы вместе с ветеранами дивизии четыре года тому назад. Еще в 1964 году ребята начали создавать музей славы башкирских конников. Собирали документы, фотографии, газеты фронтовых лет. Разыскивали адреса воинов, завязали с ними переписку. По воспоминаниям бывших воинов, документам описывали следопыты историю дивизии, ее боевой путь.



Ченики восьмилетней школы села Малиновка Черновицкой области изучают историю родного края, увлекаются археологией. Недавно они нашли оригинальную серебряную монету. На лицевой стороне ее изображена голова человека с большой бородой и лавровым венком. На оборотной — всадник с пальмовой веткой в руке.

Эту монету ребята показали специалистам. Археологи рассказали школьникам, что монета отчеканена в Македонии во время царствования Филиппа, отца знаменитого Александра Македонского, в IV веке до нашей эры.

Но как попала она в Буковину!

В первой половине первого тысячелетия до нашей эры на территории Северной Буковины жили племена, которые занимались охотой и земледелием. О них упоминает греческий историк Геродот. Предки нынешних буковинцев имели торговые связи со многими странами. Серебряная монета, найденная юными археологами, — еще одно свидетельство этих связей.

ЛУНАЧАРСКИЙ ГОВОРИТ С УРАЛОМ

Один из старейших журналистов Свердловска Геннадий Николаевич Лисин рассказал мне как-то, во время нашего совместного ночного дежурства по газете, любопытную историю из своей богатой событиями жизни газетчика: «Про то, как Луначарский меня журналистскому достоинству обучал...»

* * *

— Было это,— рассказывал Лисин,— в 1923 году. И день помню — 17 мая.

Не знаю, куда я, тогда молодой сотрудник газеты «На смену!», шел в тот день, только встретился мне по дороге секретарь редакции железнодорожной газеты «Путевка».

— Слушай, скоро должен специальный поезд подойти, Луначарский в Сибирь едет. Здесь будет остановка, митинг. А у меня сейчас в редакции ни одного работника нет. Выручи, пожалуйста, сходи, сделай материал. Если интересный, пиши побольше.

— Ну,— отвечаю,— ладно, попробую.

На привокзальной площади вокруг наскоро сооруженной трибуны — толпы народа. Когда открыли митинг, по ступенькам трибуны быстро поднялась знакомая всем по фотографии фигура Луначарского с неизменной бородкой «клинышком». Ему предоставили слово. А я вытащил из кармана длиннющий блокнот — у нас, у репортеров, такие в моде тогда были — и пристроился под лестницей. Как раз он надо мной говорит, а я стою и записываю.

Когда Луначарский закончил речь, он обратил на меня внимание:

— Молодой человек, почему вы там под лестницей пристроились? Заходите сюда!

Знакомые ребята меня подтолкнули вперед.

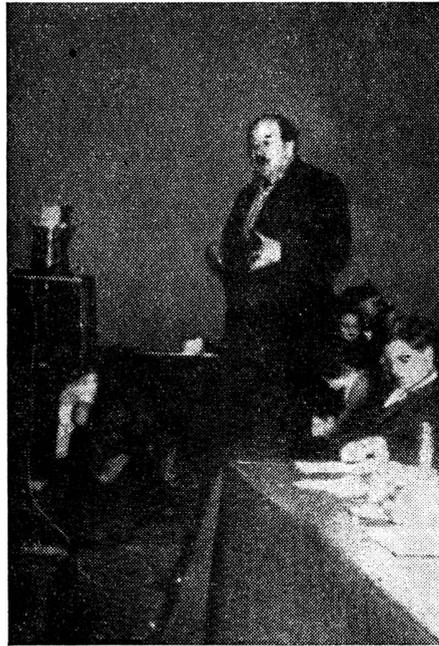
— Вы что,— спрашивает Луначарский,— из местной печати?

— Да,— говорю,— от железнодорожной газеты.

— Так и присутствуйте как представитель печати, ведите себя солиднее! Что это вы под лестницу забрались?

Все рассмеялись.

Утром я сдал Трухановскому материал. Газета отдала ему целую страницу. Очень жалею теперь, что не сберег этот номер «Путевки». Но про науку не забуду.



А. В. Луначарский выступает в Свердловском оперном театре. 1928 г. (Снимок публикуется впервые).

* * *

Забавная история, рассказанная Лисиным, заинтересовала меня. Луначарский, старый партиец, выдающийся государственный деятель, блестящий критик, драматург, публицист, был в нашем городе в первые после разгрома колчаковщины годы. Интересно знать, нет ли в творческом наследии Анатолия Васильевича уральских строк и страниц?

Собрание сочинений Луначарского в этом смысле не порадовало ничем. Но в подшивках «Уральского рабочего», в номере за 31 мая 1923 года, нашлось объявление:

«В четверг, 31 мая, в 8 час. вечера в театре им. Луначарского состоится общегородское собрание членов и кандидатов РКП. В повестке дня: Доклад Народного Комиссара Просвещения тов. Луначарского — о задачах народного образования. Собрание 1-го района РКП переносится в театр Луначарского. Губком РКП».

Рядом были помещены портрет Анатолия Васильевича и еще одно извещение:

«т. Луначарский выступит на заводах.

Прибывший в Екатеринбург т. Луначарский на днях будет выступать на фабрике им. Ленина и Верх-Исетском заводе».

Эти «начальные» материалы дополнили архивы, воспоминания очевидцев, не замедливших откликнуться на мое обращение по радио.

Пенсионер из города Артемовского Иван Семенович Черемных дополнил рассказ Лисина о встрече наркома:

«Когда Анатолий Васильевич ехал в Новосибирск,— писал он,— нас, совпартшкольцев, пригласили на перрон Екатеринбургского вокзала. И вот поезд остановился. Мы стояли как раз напротив того вагона, в котором ехал Луначарский. Как только он вышел, мы крикнули «ура!», подхватили его на руки и понесли на площадь. Участники митинга

слушали наркома внимательно. И первый вопрос ему был задан такой: «Как здоровье Владимира Ильича?» Анатолий Васильевич ответил успокаивающе: здоровье Владимира Ильича шло к лучшему».

В тот же день с горячей, взволнованной речью Анатолий Васильевич выступил на открытии областных педагогических курсов. Луначарский говорил о высоком общественном значении педагогической работы, о задачах новой школы, о трудностях, которые приходится преодолевать народному образованию, о целях открывающихся курсов. «Ведите наше поколение к новым освободительным идеям человечества!» — призывал он курсантов.

Вскоре Луначарский выступил на общегородском собрании коммунистов, том самом, о котором говорилось в извещении «Уральского рабочего». Наркому было что сказать коммунистам: только что завершил свою работу двенадцатый съезд партии, но не закончилась борьба с фракционерами и уклонистами. Перед страной вставали все новые и новые задачи. Об этом выступлении Анатолия Васильевича вспоминает Георгий Григорьевич Прохоров из Камышловского района.

«Шло собрание партактива в здании театра имени Луначарского, — читаем мы в его письме. — Это было время острой борьбы с троцкизмом. Все комвузовцы явились на собрание как один. Вот Анатолий Васильевич поднялся на сцену — собранный, высокого роста, в опрятном белом костюме. Говорил он убежденно, страстно. Доклад его присутствующим очень понравился. Из всех комвузовцев отыскался только один троцкист и выступил против Луначарского. Но, кроме смеху, ничего не получилось из его выступления. Урало-Сибирский комвуз имени Владимира Ильича Ленина крепко держал партийную линию».

Ярким, страстным было выступление Луначарского перед многолюдным собранием студентов города с докладом «Революция и интеллигенция», на митинге рабочих ткацкой фабрики имени Ленина. Доклад «командира третьего фронта» о внутреннем и международном положении слушали более полутора тысяч визовцев.

Наконец, нарком встретился с профессорами и преподавателями горного факультета Уральского университета, осмотрел кафедры медицинского факультета, посетил клуб студентов.

И вот он уже в поездке по городам Урала. Верх-Нейвинск, Нижний Тагил, Надеждинск, Ляля, Кушва. Посещение заводов, рудников и обязательно — детских домов, школ.

В саду Лялинского клуба — митинг. После большого доклада Анатолия Васильевича слово просит крестьянин Воронцов. Он очень взволнован.

— Был ли хоть один случай, когда бы министр просвещения старой России приехал в такой медвежий угол, как наш? — спрашивает Воронцов у присутствующих. — Наши министры не боятся идти к нам, в гущу народные... Я счастлив, что дожил до дня, когда пришлось лично приветствовать члена нашего правительства.

Так закончилась эта первая встреча Луначарского со Свердловским, с Уралом.

В следующий раз Анатолий Васильевич появился в нашем городе почти через пять лет.

Скорый поезд, в конце которого был прицеплен вагон наркома, подошел к перрону свердловского вокзала 6 января 1928 года. Встречавшие Луначарского представители местных организаций информировали его о предстоящей работе.

«Предстоящая работа» — это открывающийся вечером в театре имени Луначарского второй обла-

стной съезд работников народного образования. Кроме того, Анатолия Васильевича просят выступить с докладами в ряде уральских городов. Перед отъездом в город Луначарский передал сотруднику «Уральского рабочего» несколько строк: «Вновь приехав на Урал для присутствия на областном съезде по просвещению, от всего сердца приветствую рабочих Свердловска и всего Урала».

На съезде Луначарский выступил с большим докладом о задачах народного просвещения. Вечером 7 января в Деловом клубе он прочитал лекцию «Христианство и коммунизм».

Интересно, что в Свердловске Анатолий Васильевич почти «столкнулся» с Маяковским, о предстоящих выступлениях которого уже извещали афиши. И одно из этих выступлений (26 января) могло бы не состояться, если бы не вмешательство Луначарского. Вот несколько строк из воспоминаний устроителя поездов поэта по стране Павла Ильича Лавута:

«Я приехал в Свердловск еще седьмого января и вел переговоры с заведующим этим клубом (Деловым клубом) об аренде зала для вечера Маяковского на 26 января. Он принял меня более чем равнодушно и выдвинул такие условия, с которыми нельзя было согласиться. Я ушел расстроенный. На следующий день, в воскресенье, я снова явился в клуб, надеясь, что мне все же удастся убедить заведующего. Неожиданно мне навстречу по тускло освещенному коридору — группа людей. Среди них — Анатолий Васильевич Луначарский. Я хотел пройти незамеченным. Но Анатолий Васильевич протянул руку:

— Здравствуйте! А вы что здесь делаете?

— Я здесь с Маяковским.

— Как, Владимир Владимирович здесь? Приятно, очень приятно.

— Маяковского самого пока нет, — уточнил я. — Я договариваюсь о его встречах на конец января.

— Пожалуйте с нами, — указал мне на открытую дверь Анатолий Васильевич, где был накрыт стол.

В дверях мелькнула фигура заведующего клубом. Он разглядел, должно быть, меня. В этот день мы обо всем с ним договорились.

Когда я рассказал Маяковскому эту историю, он засмеялся: «Вам повезло на подхалима!»

А Луначарский уже в Тагиле — осматривает строящиеся железнодорожный клуб, детский городок, металлургический завод, промышленно-экономическую выставку, музей, школы. На заводе и железной дороге он беседует с рабочими. Рабочие интересовались практическим осуществлением лозунга XV съезда партии о культурном строительстве. И вечером в клубе «Металлист» на общегородском профсоюзном собрании нарком читает доклад «Пути социалистического строительства». Доклад транслируется по радио в другие клубы.

По пути в Москву Анатолий Васильевич останавливался в Мотовилихе и в Перми и тоже выступал с докладами. Перед отъездом из Перми он поделился своими впечатлениями об Урале с сотрудниками «Уральского рабочего».

— На Урале вообще и в Перми в частности, — сказал Анатолий Васильевич, — я заметил несомненное поступательное движение как в промышленности, так и в культурном развитии. Некоторые достижения особенно бросаются в глаза... Поразили меня стойкость, выдержанность, бодрость духа рабочих Урала...

Луначарский собирался снова приехать на Урал. «Опять этак годиков через пять, — загадывал он, — что-то будет тогда!» Эта задумка осуществилась через три с половиной года.

28 мая 1931 года в «Уральском рабочем» появилось объявление:

Гостеатр им. А. В. Луначарского
28 мая ДВЕ ЛЕКЦИИ 29 мая
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
ЛУНАЧАРСКОГО

28 мая первая лекция «Закат Запада»
29 мая вторая лекция «Максим Горький»
Начало в 8 часов вечера.

В Свердловск Анатолий Васильевич приехал с Натальей Александровной Луначарской-Розенель, которая вместе с Игорем Ильинским, А. Судакевич и Константином Эггертом выступила в трех гастрольных спектаклях.

Тематика лекций Луначарского была не случайной. В «Закате Запада» он рассказывал о своих впечатлениях от недавней поездки во Францию. Что касается рассказа о жизни и творчестве А. М. Горького, то он был вызван возросшим интересом к писателю после его недавнего возвращения на Родину из Италии. К сожалению, обе лекции не были даже изложены в местной печати и сохранились лишь в памяти современников.

Побывать на Урале Луначарскому больше уже не привелось. 26 декабря 1933 года в городе Ментоне, на юге Франции, его настигла смерть...

Итак, Свердловск, Урал глубоко взволновали Анатолия Васильевича. Неужели же это никак не отразилось в его литературно-творческой работе? Наверное, все же он писал что-то о нашем крае.

Ну вот, так и есть! На второй странице номера «Уральского рабочего» за 17 января: «Город в лесах». Статья товарища Луначарского, переданная по телефону.

Приведу отрывок из нее:

«В поздний час Свердловск кажется вымершим, чувствуется, что люди забрались в дома и домики и отсиживают там от ледяного дыхания зимы. Но днем, когда идешь по Свердловску, он представляет довольно живой и своеобразный вид. Свердловск чрезвычайно быстро растет. В нем начинается крупное строительство. Заложены, отчасти наполовину возведены новые заводы, новые громадные здания, например, Правление Пермской железной дороги. Есть разные остатки «приваловских» миллионов: превосходный театр, два-три крупных здания... Свердловск растет быстро, строится энергично. Товарищи с гордостью говорили мне, что летом он весь в лесах. Зимой застывшие фигуры незаконченных построек бросаются в глаза со всех сторон: громадное здание Промбанка, выстроенное по типу нашего московского телеграфа, огромный дом квартир — в Свердловске большой жилищный кризис — и так далее. Предстоит еще постройка гигантского машиностроительного завода.

Этот завод будет иметь общереспубликанское значение, тем не менее Урал от своего, не очень-то жирного бюджета выделил более миллиона рублей для создания этого завода, в котором видит

залог будущего ускоренного развития всей своей промышленности...»

Интересные, меткие наблюдения. Но как же далеко уйдет Свердловск за последующие годы!..

Хочу хотя бы упомянуть еще о трех уральских материалах Анатолия Васильевича.

В номере за 20 января опубликована статья «Культурные потребности Урала растут». В ней рассказывается о съезде работников просвещения, о положении школ на Урале. 27 января «Уральский рабочий» опубликовал очерк Луначарского «Города-заводы». Любопытна первая его часть:

«...В 1923—24 году, когда я посещал Урал и объехал много его местностей, я был еще свидетелем весьма тяжелой картины. Часть заводов была на консервации. Кое-где дело начинало, так сказать, со скрипом двигаться с места. Повсюду господствовала еще нетронутая старая техника. Иные заводы, основанные двести лет тому назад, сохранили способы производства, поистине пахучие столетиями.

Сейчас — совсем другое дело.

Во-первых, все заводы, почти без всякого исключения, идут полным ходом, производство все время поднимается, заказы велики и выбрасываемого товара не хватает на рынке. Во-вторых, всюду — кипучая деятельность по дальнейшему развитию производства. Распланировано множество крупных заводов, как, например, уже упомянутый мною машиностроительный завод в Свердловске и вагоностроительный завод в Тагиле, куда я из Свердловска направился.

Наряду с этим старые заводы обогащаются новыми цехами, корпуса строятся по последним образцам. Старые машины заменяются новыми, энергично электрифицируются заводы, прежние методы выработки заменяются новыми.

Конечно, Урал ни по уровню своего производства, ни по степени своего машинного оборудования, ни даже по минимуму обновления не обогнал Юга, но, тем не менее, быстрый рост является доминирующей нотой в промышленной экономике Урала.

Это преисполняет и все прикасающееся к производству население соответствующим бодрым духом.

...Нельзя представить себе ничего более стойкого, морально крепкого, революционно выдержанного и трудолюбивого, чем население рабочих городов Урала».

Эти же мысли прозвучат и несколько позднее — в уральских очерках Луначарского, которые я нашел в старых подшивках газеты «Известия». А в «Уральском рабочем» последний свой материал Анатолий Васильевич посвящает Перми. Думаю, что несколько строк, венчающих его, как нельзя кстати будут и в конце этого рассказа:

«Даже короткое путешествие по Уралу укрепляет любовь к этому суровому, богатому, энергичному, глубоко революционному краю».

А. ПУДВАЛЬ



«ЭТО БЫЛО ЧУДО!»

В Ленинградском Дворце пионеров в 1938 году был создан ансамбль песни и пляски под управлением Исаака Осиповича Дунаевского. Композитор любил ребят и специально для них писал свои прекрасные песни и музыку для танцев.

Еще в июне 1941 года в Эрмитажном театре звонко лилась песня «Широка страна моя родная», неслась по сцене лихая пляска «Гопак». Двадцать первого июня на стадионе Таврического дворца собрались участники студии — шла подготовка к физкультурному параду в Москве. Но парад был отменен. Началась война.

Оставшиеся в Ленинграде участники ансамбля помогали старшим эвакуировать малышей, сооружали бомбоубежища. Они рыли противотанковые рвы, пережили первые налеты фашистской авиации.

Наступил холодный март 1942 года. В Ленинграде кончались продукты, топливо, погасло электричество, замерзла в трубах вода. Умирали родные и близкие. Многие ребята слегли от острой дистрофии.

Аркадий Ефимович Обрант — балетмейстер ансамбля — в первые дни войны ушел добровольцем на фронт. Он сражался в районе Урицка, Колпина. По заданию командования сформировал и обучил лыжный батальон. Но в феврале 1942 года Аркадия Ефимовича перевели в Усть-Ижору для организации агитвзвода. Обрант приступил к репетициям. В ансамбле были хорошие певцы, тещы, музыканты, а вот танцоров не было. Подготовка танцоров — дело не одного дня: нужны школа и долгие годы работы. А что если попытаться разыскать своих учеников, участников ансамбля Дунаевского? Обрант знал, что некоторые из них остались в Ленинграде. Он направился в штаб.

— Что? — удивился бригадный комиссар Кирилл Панкратьевич Кулик. — Детей в это пекло?

Слова генерала заглушили разрывы бомб.

— В Ленинграде всюду сейчас пекло, товарищ генерал.

— Хорошо, — сказал К. П. Кулик, — давайте сюда ваших вундеркиндов.

Получив поддержку у бригадного комиссара, Аркадий Ефимович пешком направился в Ленинград. Весь длинный путь его не покидала тревожная мысль: «Живы ли ребята? Смогли ли перенести труднейшую зиму?» Только к ночи добрался до города. Тихие, пустынные улицы, опустевшие дома, пепелища, узкие тропинки, протоптанные в сугробах, остановившиеся часы на башне Московского вокзала. Занесенные снегом троллейбусы, перевернутые трамваи, трупы. Подошел к Дворцу пионеров. Заклеенные потухшие окна. Сейчас здесь госпиталь.

Аркадий Ефимович разыскал Розу Абрамовну Варшавскую. Она недавно вышла из больницы и еще была слаба, но уже работала в приемном покое госпиталья.

Варшавская принесла журналы с адресами учеников, и на следующий день оба педагога отправились на поиски ребят. Нашли семерых: Нелли Раудсепп, Веру Мефодьеву, Валю Лудинову, Рину Потемкину, Феликса Мореля, Геннадия Кореневского и Валентина Клеймана.

Нелли Раудсепп застала дома. У нее умер отец от голода. Она работала связной в группе ПВО. Выступала в агитбригаде в госпиталях, больницах, пока не наступили жестокие декабрь, январь, февраль.

Как обрадовалась Вера Мефодьева, когда увидела своих любимых учителей, но ехать с ними она не могла. Тяжело больные сестра и мать нуждались в уходе. Вера работала на заводе сразу на трех станках. Обещала прийти позже, когда устроит родных в больницу.

Валю Лудинову нашли в госпитале с дистрофией третьей степе-

ни. Она уже прошла курс лечения. В своем дневнике в те дни записала: «Начала входить в колею, опять появился интерес к окружающему». До этого Валя работала воспитателем в детском саду, приходилось быть и уборщицей, и сторожем, и няней. Работала круглосуточно, еле хватало сил. В декабре от голода умер отец, потом брат Георгий — по пути на работу. Младшие брат и сестра с трудом перенесли зиму 42-го года.

Феликс Морель с начала войны работал во Дворце пионеров: оборудовал бомбоубежище, рыл траншеи в саду, дежурил во время бомбежки на территории телефонной станции, где теперь жил. Участвовал в спектакле агитбригады Дома Красной Армии и Выборгского Дома культуры, обслуживающих воинские части и призывные пункты.

Гена Корниевский в июле 41-го года по поручению Дворца пионеров эвакуировал детей, затем стал бойцом группы самообороны. Оказывал первую помощь пострадавшим, рыл противотанковые рвы под Ленинградом. С сентября 1941 года вместе с Феликсом работали в одном из ансамблей, выступали два-три раза в день, ходили из одного города в другой. Голод душил, силы иссякали, и Гена слег.

Холодным мартовским днем Гена с трудом вышел на улицу. Приближалась оттепель, нужно было убрать двор. Вмерзшие в снег трупы, скопившиеся за зиму, нечистоты грозили эпидемией. Еле держась на ногах, Гена работал со всеми. Здесь и встретили его Варшавская и Обрант. Они увидели тощего подростка, закутанного в платок, в папином до пят пальто. У мальчика не было сил плакать от радости.

25 марта 1942 года Нелли Раудсепп, Валя Лудинова, Гена Корниевский, Феликс Морель, Валентин Клейман вместе с Аркадием Ефимовичем тронулись в долгий путь в Усть-Ижору. Валю сначала несли на руках, потом тащили на куске фанеры, оторванной где-то у полуразрушенного дома.

В агитвзводе встретили ребят тепло и радушно. Съеденные сразу обед, ужин показали настоящим пиром. Через несколько дней всем, кроме Валентина Клеймана, предстояло выступить в концерт.

«Друзья мои, — обратился к ним Обрант, — знаю, что вы очень слабы, что танцевать вам

сейчас трудно, почти невозможно, но, если хотите возродить танцевальный ансамбль, придется сделать невозможное. Так что давайте потихоньку заниматься». Пять дней репетировали ребята, еле передвигая ноги, тяжело дыша, падая от усталости. Они восстанавливали «Гопак», говорили новый «Красноармейский перепляс».

30 марта в Рыбацком состоялся концерт для медработников армии. Участники агитвзвода с сомнением поглядывали на ребят: как эти, изможденные до крайности дети смогут танцевать. И вот на сцене лихой «Гопак». Гена Корниевский пошел вприпрыжку и не смог встать, Нелли с трудом помогла ему подняться. Еще раз присядка и отчаянная попытка встать, и опять безуспешно. Снова выручила Нелли. Поблуднел байнист: надо ли продолжать?! Женщины, на руках которых умирали ежедневно раненые бойцы, плакали, не скрывая слез. Отворачивались бойцы, когда из последних сил заканчивался этот веселый и трагический «Гопак». Плясали дети блокадного Ленинграда! Веселое «Яблочко» и «Красноармейский перепляс» — все это казалось невероятным. Зрители аплодировали, утирая слезы, и кричали «браво». Им хотелось согреть, обласкать этих мужественных, измученных голодом детей. Смущенные ребята решили повторить номер, но во весь могучий рост поднялся бригадный комиссар Кулик: «Это было чудо, ребятки! Молодцы, хорошо танцуете, да плохо выглядите. Сейчас сразу же поедете в госпиталь. Там вас подлечат, а потом будете танцевать».

После концерта ребят увезли в госпиталь. Кирилл Панкратьевич Кулик сказал врачам: «Берегите их, это настоящие артисты». Особую тревогу у врачей вызывал Валентин Клейман. Благодаря заботам врачей ребята быстро стали поправляться. Добралась в Рыбацкое и Вера Мефодьева. Теперь их стало шестеро.

Дом в Усть-Ижоре, где шли репетиции, разбомбили, и все перебрались в Рыбацкое, в здание политотдела бывшей школы. Юные артисты сами оборудовали для занятия зал. Начались регулярные репетиции и выступления. Кроме этого, ребята занимались военным делом: изучали материальную часть оружия, стрельбу, а девочки еще и медицинскую помощь. Вся шестерка стала заочно продолжать учебу в школе.

26 апреля 1942 года стал для них знаменательным днем — ребята вступили в члены Ленинского комсомола.

Вскоре ряды участников ансамбля пополнились.

Валя Сулейкина, как только началась война, заняла место ушедшего на фронт брата на заводе. Работала Валя в три смены, делала стабилизаторы для авиамоб. Часто оставалась спать тут же, в цехе, на столе. Когда умерли все ее близкие, Валя



А. Е. Обрант —
руководитель ансамбля

ушла на фронт. Она стала телефонисткой в артиллерийском полку. Однажды случайно услышала по радио, что на фронте выступают ее друзья. На следующий день она была в Рыбацком. Громким «ура» ответили ребята на предложение Аркадия Ефимовича взять Валю в агитвзвод. Скоро ансамбль пополнился еще двумя воспитанниками Дворца пионеров — прибыли Мирза Аваков и Володя Иванов.

Надев рюкзак, набитые костюмами и нехитрым реквизитом, маленькие танцоры исходили всю прифронтовую полосу вдоль и поперек. В дождь и в снег, в мороз и в слякоть, на открытой машине под вой пронизывающего ветра и свист пуль они давали по несколько концертов в день. Выступали в агитпоездах, в клубах-землянках, в лесу, на фронтовой дороге, на сдвинутых машинах, на железнодорожной платформе под жерлами бронепоезда, в госпиталях и в палатках медсанбатов, где тут же помогали пере-

носить и перевязывать раненых. Плясали на самой передовой. Танцевали на сене, без музыки, чтоб не слышно было врагу, окопы которого находились рядом. Ползли по-пластунски под минометным огнем от землянки к землянке, перебегая простреливаемую насквозь железнодорожную насыпь в Пулкове, чтобы поднять дух бойцов, показать им здесь, в самом пекле, что о них помнят и заботятся. Иногда бойцы прямо с концерта уходили в бой и, возвращаясь с боя, снова занимали свои места. А концерт продолжался несколько часов. Не раз было, что дом, в котором они только что выступали, как было в здании кинотеатра в Колпино, взлетал на воздух. Бывало, что не успевали подойти к избе, в которой должны были выступить, как она на глазах превращалась в руины. Танцевали там, где единственным теплом было дыхание солдат, а освещением — фонарики бойцов и копилки.

Защитники Ленинграда, выходявшие из боя измученными, обессиленными, воспринимали концерт как чудо. Дети! Ленинградские блокадные дети бесстрашно под огнем врага несут свою боевую службу. Не одна атака и не одна рукопашная схватка насмерть были рождены на этих концертах. Об этом рассказывают многие фронтовые газеты.

23 мая 1943 года по инициативе начальника управления культуры Бориса Ивановича Загурского в Ленинградской филармонии состоялся творческий отчет ансамбля. Концерт прошел с большим успехом. Сколько огня и темперамента, сколько жизнерадостности и грации было в плясках ребят. Все они выросли в профессиональных актеров. Лирничная Валя Сулейкина, техничная Вера Мефодьева, музыкальная Нелли Раудсепп, яркая огневая Валя Лудинова. Выразительность и актерское мастерство Гены Корниевского, темперамент Мирзы Авакова, мужество и спортивное начало в танцах Володи Иванова и Валентина Клеймана составляли неповторимое творческое лицо ансамбля.

И снова фронт, занятия военным делом, учеба (старшие уже учились в 10-м классе) и концерты, концерты — в Рыбацком, в Колпино, в Усть-Ижоре. Агитвзвод приехал! Эта весть быстро облетела блиндажи и землянки, и зрители располагались поудобнее на ближайшей поляне.



Исполняется «Гопак»

14 июня 1943 года в ансамбль пришла беда... Стоял солнечный теплый день. Валя Сулейкина пошла за костюмами, которые находились в стирке. Вдруг неожиданно начался обстрел. Один из снарядов упал совсем рядом, за ним — другой. Валя упала — бедро и голень ее были раздроблены. Первое, что обожгло мозг: «А как же я теперь буду танцевать?» От потери крови мутилось сознание, жгучая боль охватила все тело. А губы шептали: «Как же теперь танцевать». Она уже почти не видела лица друзей. На первом попавшемся грузовике ее отвезли в госпиталь. Последнее, что запомнилось Вале, лица врачей и слова: «Срочная ампутация». Протестовать у нее не было сил. Наступил глубокий шок.

Аркадий Ефимович, узнав о решении врачей, бросился к телефону. Срочно приглашенные ведущие хирурги фронта решили попытаться сохранить ногу. Как единственный близкий Вале человек, он дал расписку об отказе от ампутации. Больше месяца врачи боролись за жизнь девушки. Гангрена была побеждена.

11 ноября 1943 года, в день рождения Вали, в госпитале появился агитвзвод 55-й армии. Девушку перенесли на каталку, повезли в госпитальный зал и поставили возле сцены. Зал заполнили раненные. На сцену вышел ведущий: «Товарищи! Мы начинаем концерт в честь нашего товарища, героически воевавшего с врагом и раненного на передовой линии фронта».

Заиграл оркестр, и милые, родные лица Валиных товарищей закружились в танце. Это было похоже на ритуал дружбы, на ритуал верности. Словно ветер пронесся по залу, когда лихие буденновцы настигали и крушили в поле врага. Ребята своим танцем словно хотели сказать: «Смотри, смотри, Валя, слушай и запоминай. Мы гоним врага на запад. Наша армия громит его повсюду. Все, что было тобой сделано, это не зря». А потом Вало попросили спеть. Это было трудно: но, преодолевая боль, она запела. Друзья подхватили припев: «Ах вы, косы, вы черные косы».

Вскоре ансамбль выехал в Москву по приглашению ЦК ВЛКСМ, где выступил с концертом на III антифашистском слете молодежи в Колонном зале Дома Союзов, в театре Красной Армии, в зале Чайковского. Всего в Москве ребята дали 32 концерта. Зал взрывался аплодисментами. На груди у каждого участника ансамбля сверкала медаль «За оборону Ленинграда».

Обстановка на фронте менялась. Теперь с концертами выезжали в освобожденные от оккупации районы. Уходили вперед воинские части. Ансамбль решено было оставить для обслуживания Ленинграда и области. Военное командование передало ребят из одних добрых рук в другие: ансамбль вошел в состав 36-й Западной стрелковой дивизии. Пополнились его ряды. К работе в ансамбле были при-

влечены замечательные мастера, заслуженные артисты республики Л. Ф. Макарьев, Н. А. Анисимова, А. В. Лопухов. Р. А. Варшавская стала систематически работать с группой девочек, а А. Е. Обрант смог больше внимания уделять мальчикам. Теперь ансамбль имел два полноценных состава.

Приближался День победы. Ансамбль много работал над обновлением программы, много выступал. Готовили танец «Победный марш». 9 мая 1945 года состоялось знаменательное выступление на Дворцовой площади. Танцевали на сооруженной на площади сцене, а на них смотрели тысячи ликующих глаз.

20 мая 1945 года в Ленинградском Доме Красной Армии имени Кирова праздновался трехлетний юбилей ансамбля. Три тысячи концертов было дано за время войны. В связи с юбилеем ребята получили многочисленные приветствия. Начальник политуправления Ленинградского фронта Д. Холостев издал специальный приказ. Он отметил большую помощь ансамбля в морально-политическом воспитании бойцов в условиях тяжелых боев за Ленинград. А. Е. Обрант был награжден орденом Отечественной войны, ордена Красной Звезды были вручены Н. Раудсепп, В. Мефодьевой, В. Лудиновой, Г. Корневскому, М. Авакову, Ф. Морелю, медаль «За боевые заслуги» — Р. Ивановой, В. Клейману, В. Иванову. Еще раньше, 8 марта, была торжественно награждена орденом Красной Звезды Валя Сулейкина.

По-разному сложилась судьба участников ансамбля. Мирза Аваков стал профессором Высшей дипломатической школы МИД СССР. Валентин Клейман — морским офицером, Валя Сулейкина — редактором издательства «Художник», Рина Потемкина — учительницей, Феликс Морель — заслуженным тренером РСФСР по спортивной гимнастике, Гена Корневский, Валя Лудинова, Нелли Раудсепп, Вера Мефодьева — балетмейстерами.

Все они стали нашими друзьями и самыми дорогими гостями школьного музея, где мы свято храним их личные вещи, танцевальные костюмы, дневники и фотографии, комсомольские билеты с печатью «Действителен без фотографии» и много других реликвий.

Следопыты школы № 235 города Ленинграда, Е. ЛИНД, руководитель поиска



Парижский коммунарь в Туринске

В дни столетия Парижской коммуны на выставке в Москве экспонировалось письмо русского революционера Николая Александровича Шевелева. В письме — идущие от сердца слова, как клятва: «Защищать Коммуну не одним только словом, но и делом — это убеждение для меня святое. Я ни для кого в мире не принесу в жертву своих убеждений и всегда с оружием в руках готов поддержать их».

В одном из томов «Литературного наследства» об авторе этих слов есть такие строки: «Шевелев Николай Александрович (родился около 1826 года) — отставной поручик. Совершенно невыясненная личность... В 1871 году Шевелев был арестован в Париже по обвинению в принадлежности к Парижской коммуне и в 1872 году выдан русским властям... отправлен в Сибирь. Жил в Туринске Тобольской губернии». И все. Но кое-что удалось узнать о нем из литературы и архивных источников.

Как выяснилось, Николай Александрович Шевелев, получив военное образование, некоторое время служил в армии, а потом ушел в отставку по политическим мотивам, за антиправительственную деятельность его дважды арестовывали, но он дважды бежал. Преследования вынудили его покинуть Россию и эмигрировать в Женеву. Здесь Шевелев познакомился с вожаками русского революционного движения — Александром Герценом и Николаем Огаревым. В 1865 году Герцен издал его книгу о молоканах. Она вышла без упоминания автора, но с тех пор Герцен и Огарев в своей переписке стали именовать Шеле-

лева «молоканином». Это стало и его подпольной кличкой.

В Женеве Шевелев установил связи и с другими русскими революционными эмигрантами. Один из них, М. К. Аллидин, сыграл неблагоприятную роль в жизни Шевелева, пустив слух, что он — агент царской охранки. Интересна характеристика мнительного Аллидина, данная о нем замечательной революционеркой Верой Фигнер: «Аллидин был в то время настоящим шпиономаном. Ходил даже анекдот, что после многих лет счастливого супружества он спохватился, не шпионка ли, подосланная русскими властями, его жена? И стал за ней следить...»

В декабре 1867 года в письме из Женевы Огарев спрашивал Герцена: «Что за клевета на молоканина в шпионаже? Тени подходящего нет — это наивный фанатик». Н. А. Шевелев был убежденным врагом царизма. В 1868 году он вместе с Л. И. Мечниковым издал в «Вольной типографии» Герцена труд «Землеописание для народа», в котором, как отмечалось потом на суде, «содержалось дерзкое порицание» самодержавию в России. В другом своем труде «Русский глас к словакам» он убеждал, что только свержение царя и уничтожение эксплуатации вызовят великий русский народ из неволи и принесут подлинную свободу.

В эмиграции Шевелев познакомился с основными идеями учения К. Маркса. Это и привело его в ряды защитников Парижской коммуны. Среди сотен интернационалистов, дравшихся на баррикадах Парижа, был и Николай Александрович Шевелев.

Секретные циркуляры русской

жандармерии от 5 и 7 мая 1871 года предписывали всем жандармским управлениям, пограничным пунктам, тайной агентуре за границей арестовать отставного подпоручика Н. А. Шевелева и предать суду. Один из петербургских корреспондентов А. И. Герцена писал ему 22 февраля 1872 года: «Шевелев арестован был в Париже за участие в коммуне, сидел в Бастилии. 4 февраля сего года выдан Версальским правительством русскому, посажен в Петропавловскую крепость, в Алексеевский рavelин...»

Особое присутствие Сената в феврале 1872 года приговорило Шевелева к пожизненной каторге. В 1881 году он был «водворен» на пожизненное жительство в Туринск под гласный надзор полиции. Здесь он заболел и жил очень бедно. В Тюменском архиве сохранилось его прошение о помощи: «Едва ли картина какого-либо разрушения может быть печальней, как картина разрушения моего платья, начиная с майки и кончая сапогами и валенками. И я теперь по необходимости должен буду шеголять в роли гоголевского петуха». После долгой переписки власти решили выделить Шевелеву 14 рублей 12 с четвертью копеек. Но Николай Александрович этих денег не дождался. Умер он 24 февраля 1885 года в местной больнице и похоронен на туринском кладбище.

Так уральская земля навечно приютила славного борца Парижской коммуны.

Арк. КОРОВИН, краевед

ПУТЕШЕСТВИЕ

В XVIII ВЕК

■ ■ ■ Внешне на Михайловском руднике все выглядело как обычно. Бригады спускались под землю, выдавали на-гора вагонетки с тяжелой, влажной рудой. Но при этом непрерывно дежурили горноспасатели. Обычно они появляются в шахте, когда беда — пожар или обвал. А теперь они дежурили день за днем, томясь от безделья и напряженного ожидания, терпя остроты шахтеров насчет того, что житье у них даже лучше, чем у пожарников.

Горноспасатели дежурили в самом дальнем забое. Туда по несколько раз в смену приходили руководители работ. Главный инженер стучал молотком по породе, прижимался к ней ухом.

Михайловский рудник — приятное новое. За несколько лет

среди безлюдной холмистой степи Забайкалья, южнее Нерчинского завода, недалеко от реки Аргуни, выросли шахта, электростанция, кварталы жилых домов, школа, клуб.

Первыми сюда пришли, как это и положено, разведчики. Но они хорошо знали, что залого до них здесь были люди. Оплывшие воронки горных выработок, поросшие кустарником отвалы породы, остатки фундаментов домов и даже штабеля проржавевшей руды сохранились кое-где среди степи.

У горняков Михайловки имелись веские причины интересоваться историей своего рудника. Пожелтевшие страницы архивных документов Нерчинского горного округа были тщательно изу-

чены. И вот что удалось узнать.

Еще в первой половине XVII века доходили до Москвы слухи о том, что в Забайкалье (в Нерчинской Даурии, как называли этот край тогда) есть серебряная руда «добра образца и в глубине пребогатая».

Руда была очень нужна — в России тогда добывалось только железо да немного меди. Серебро, золото, свинец и другие металлы покупали за границей. Сибирским воеводам шли строгие указы, но только в 1676 году поиски принесли успех — боярский сын Лоншаков недалеко от Аргуни нашел богатую свинцово-серебряную руду, увидел большие ямы, «где преж сего имана руда», и остатки печей.

Кто добывал руду здесь, оста-

СПОР ОБ УРАЛЕ

Вот уже более двухсот лет, начиная с В. Татищева, ученых интересует вопрос, откуда произошло слово Урал. Этому названию посвящена богатая литература — десятки статей, множество отдельных заметок. Спор идет, в основном, между сторонниками двух гипотез — финно-угорского и тюркского происхождения слова.

ФИННО-УГОРСКАЯ ВЕРСИЯ

Известный исследователь Северного Урала в XIX веке М. Ковальский считал, что русское слово Урал происходит от мансийского *ур* — «гора, возвышенность». Кажется, он был первым, кто выдвинул эту версию. В наши дни у нее появились новые последователи, гипотеза возрождается в новом, более совершенном вариан-

те (надо же объяснить, откуда взялся в слове еще и компонент — «ал»!).

Венгерский ученый, профессор Дебреценского университета Бела Кальман связывает Урал с мансийским *ур-ала* — «горный хребет», где со временем отпал конечный гласный звук.

На страницах журнала «Уральский следопыт» (1960, № 9) писатель Лев Успенский рассказал о предположении Кальмана и также присоединился к гипотезе о мансийском происхождении этого слова.

Объяснение Кальмана поддер-

жал создатель известного «Этимологического словаря русского языка» Макс Фасмер, он включил толкование Кальмана в свой словарь.

Другой современный венгерский ученый, доктор филологических наук Янош Гуя считает, что слово Урал связано с мансийским *ур* «гора» (древняя основа *ура-*), а *л* — это лишь суффикс.

Наконец французский языковед А. Соважо, также разделяя мансийскую гипотезу, приводит и объяснение Кальмана, и точку зрения Гуя, склоняясь больше все же к взгляду Кальмана.



ется неясным. Такие древние выработки в Сибири, на Алтае и Урале молва приписывает полуполю-легендарному племени чудь. Отсюда и название «чудские копи».

Один из первых русских академик Иван Лепехин справедливо отметил, что «попадающиеся в разных местах такие копи наибольший подали повод заводчикам помышлять о заведении рудокопных промыслов, да и ныне еще самые богатые руды в таких копиях находятся, ибо, как все рудопромышленники единогласно заверяют, что жившая «чудь» только самую лучшую руду отбирала, оставляя все прочее потомству».

«Чудские копи» до сих пор помогают в поисках руд. Многие месторождения были открыты по их следам, среди них — и Михайловское в Забайкалье.

Через четверть века после открытия Лоншакова, в 1693 году, «мастер Левандиан с товарищи» выплавил в Нерчинском заводе первое русское серебро — пять золотников — и шесть фунтов свинца. А в 1704 году из отечественного серебра были уже отчеканены монеты-рублевники так

называемой новой Петровской серии.

Быстрое развитие горного дела во многом обязано Петру I, который, потеснив права удельной собственности, провозгласил «горную волю».

«Соизволяется всем и каждому,— гласил Петровский указ,— дается воля, какого бы чина и достоинства не был, во всех местах, как на собственных, так и на чужих землях, искать, копать, плавить, варить и чистить всякие металлы, сиречь: золото, серебро, медь, олово, свинец, железо, та-кож и минералов яко селитра, сера, купорос, квасцы и всяких красок, потребные земли и каменья. Объявителю в приске руды давать награждение, а кто ведая не объявит, тому чинить наказание».

«Горная воля» была отменена в 1782 году Екатериной II. В Забайкалье одним из тех, кто сумел воспользоваться этой свободой, был Михайло Серебряков. Не то он сам нашел, не то перекупил у других менее удачливых рудознатцев права, но к 1760 году Михайловский рудник стал крупным предприятием. Интен-

сивная разработка продолжалась более 25 лет. Было добыто свыше 100 тысяч тонн богатой руды. Известно, что на руднике несколько раз случались крупные пожары и обрушения.

Сохранилась схема, показывающая, что руда добывалась местами с глубины 100—110 метров. Точно «привязать» этот чертеж к местности не удалось. Осталось также неизвестным, как производилась разработка — сплошным забоем или отдельными камерами, с креплением или с обрушением отработанного пространства.

Все эти сведения были очень нужны, потому что разведка доказала распространение богатых руд на значительную глубину.

Началось возрождение рудника. На глубине 160 метров, от ствола новой шахты по всей длине рудного тела, пробили коридор — откаточный штрек, уложили рельсы. Сюда в вагонетки спускают из люков руду, добываемую выше, в очистных блоках. Предстояло вынуть всю руду, лежащую ниже старых выработок. Где проходит их граница, никто не знал, и опасность обвала становилась все реальнее.

ТЮРКСКАЯ ГИПОТЕЗА

Еще в XVIII веке В. Татищев высказал мысль, что Урал по-татарски означает «пояс». Этот же взгляд разделяют П. Рычков, А. Ф. Гумбольдт, Х. Мозель.

Другая точка зрения сложилась, когда в знаменитой «Книге Большому Чертежу» было обнаружено название **Аральтова** или **Оральтова** гора. Это название дало повод искать основу слова Урал в **Арал**.

Профессор Д. К. Кнекбаев полагал, что **Урал-тау** («Уральская гора») переработка из **Арал-тау**, где **ара** — «середина», а **л** — словообразовательный суффикс, и, следовательно, **Арал-атау** — «Средняя гора», как и **Арал-дингезе** (Аральское море) — «Среднее море».

Казахский ученый Г. К. Конкашпаев возрождает на новой почве старую этимологию: Урал —

«пояс». Он считает, что урал — это повелительное наклонение единственного числа от тюркского глагола **уралмак** — «описывать», «окружать».

В самое последнее время башкирский языковед А. Н. Камалов вновь сопоставляет Урал с **арал** — «остров», а также «хребет», «небольшой пригорок» (такое значение бытует в Учалинском районе Башкирской АССР). По его мнению, слово **арал** впоследствии «переработалось» в Урал.

А вот географ Е. В. Ястребов думает, что Урал — это тюркское мужское имя: жил некогда башкирский герой Урал-батыр, по которому и названы Уральские горы.

СЛОВО НАШЕМУ КОММЕНТАТОРУ

Итак, кто же прав — защитники финно-угорской или тюркской гипотезы?

Хотя в последнее время сторонники мансийской версии очень активны, против нее есть ряд серьезных аргументов.

Во-первых, сами манси никогда не называют Урал — **ур-ала**, а исключительно **Нер**, на их языке **нер** дословно — «камень», что точно соответствует древнему русскому названию Урала — **Камень**, до сих пор распространенному в русских говорах Северного Урала, а также коми-зырянскому **Из** — «Камень» (Урал) и ненецкому **Пэ** — «Камень» (Урал). Мы не раз пытались узнать у верхнелозьвинских и верхнесосьвинских манси, не называют ли они Уральский хребет **ур-ала**, но каждый раз встречали полнейшее и иногда веселое недоумение.

Во-вторых, мансийское слово **ала** имеет основное значение «крыша» (иногда «вершина») и употребляется в топонимике очень редко, только для обозначения вершук отдельных крупных гор, например, **Сисуп-ала** — «Вершина Чистопа» По смыслу неясно, почему такая огромная горная стра-

За два столетия выработки, наконец, обрушились, и их содержимое представляет нечто вроде селевого потока, сползающего с гор,— смесь из воды, камней, глины и бревен. Даже если в выработках только вода, ее там не менее пятидесяти тысяч кубических метров. Прорыв будет страшен: ведь на глубине 100 метров давление воды около 10 атмосфер. Известны трагические случаи, когда буквально за минуты происходило затопление крупных шахт. Вода в этих случаях бьет, как из гидромонитора, закручивая рельсы, уничтожая все на своем пути.

Оставить над головой такое озеро, конечно, нельзя. Поэтому было принято смелое решение — вскрыть старые выработки, даже если это повлечет временное затопление шахты.

Правда, было высказано предположение, что вода ушла из старых выработок по трещинам в породе. Но так ли это?

Все дальше продвигался в направлении старых выработок застой, в котором дежурили горно-

спасатели. Были приняты все меры предосторожности.

Судя по архивному чертежу, проходчики уже вошли в пределы старых работ, но скважины «молчали», вода из них сочилась еле-еле. Выстукивание груди забоя тоже не помогало: одни «слышали» пустоту, другие — нет.

И вдруг после очередной отпалки в нижней части забоя открылась узкая нора. Скважина ее не задела.

Из норы лениво сочилась жидкая грязь, и тянуло теплом, как из печки.

Открылся путь в старые выработки. Подтвердилось предположение о том, что вода ушла из них по трещинам в породе.

Нору расширили, и в черную пустоту, в неизвестность поползли горноспасатели...

Рудничный двор ярко освещен и после клети кажется очень уютным. Электровоз растаскивает по путям порожние и груженные вагонетки. Пронзительные звонки и световые сигналы то и дело извещают о подъеме и спуске. Равномерно гудит насос, от-

качивая воду, стекающую со всех выработок. Рядом наготове второй насос.

Мы долго шли по тускло освещенному штреку. Когда мимо пробежали вагонетки, плотно прижались к стене, вернее к трубам, укрепленным на ней. Их много — сжатый воздух и вода для бурения, электроэнергия, вентиляция — все, чем живет шахта, заключено в этих трубах.

Ко всему этому приглядываешься особенно внимательно: ведь предстоит сравнение с тем, что было в XVIII веке.

Поднялись на галерею, примерно на высоту десятого этажа. И вот, наконец, вход в старые выработки. Несколько метров ползем, затем протискиваемся сквозь протезы в креплениях и оказываемся... в XVIII веке!

Аккумуляторная лампа тускло освещает низкий извилистый коридор, плотные шеренги стоек вдоль стен. Над ними сплошной бревенчатый настил. Только в одном месте он поврежден.

Трудно поверить, что уже два века эти бревна, как богатые, дер-

на, как Урал, стала бы называться «крыша горы» или «вершина горы».

В-третьих, термин **Урал** прилагается прежде всего к горам Южного Урала. На это указывает и топоним **урал-тау**, как называют водораздельный хребет на Южном Урале, и более ранняя форма **Аральтова** или **Оральтова** гора, засвидетельствованная в «Книге Большому Чертежу».

Все это решительно против мансийской гипотезы.

Ну, а как же быть с тюркской версией? В своей основе она, очевидно, справедлива: фонетически слово **Урал** с его ударением на последнем слоге очень похоже на тюркизм, слово это распространялось с юга Урала, где преобладает тюркское население. Только вот что же означает это слово?

Возможно, что Урал имеет значение «пояс», хотя в современных тюркских языках понятие «пояс»

выражается другим словом (татарское и башкирское **бильбау**). На это же итапливают нас и такие древнерусские названия Уральских гор, как **Пояс**, **Каменный Пояс**, **Большой Пояс**.

Пожалуй, все же сопоставление **Аральтова**, **Оральтова** гора с **арал** и **Арал-дингезе** («Аральское море») более надежно, особенно если допустить, что название гор дано по смежности (метонимии).

Версию, что Уральские горы получили свое имя от башкирского героя **Урала-батыра**, принять трудно. Гораздо вероятнее, что имя героя легенды порождено самим названием гор. Натяжкой является и толкование **арал** из **ара** — «середина» (л — суффикс).

Но, в общем-то, тюркская версия выглядит более убедительной.

К сожалению, и она не дает уверенного ответа на вопрос, что означает само исходное слово

урал — «пояс», «остров», «середина» или же просто имя богатыря?

Можно ли надеяться на то, что когда-нибудь будет найден ответ на этот вопрос? И по каким направлениям должны идти поиски?

Лингвистика здесь как будто бы еще не исчерпала свои возможности: учтены все «уральские» языки, но не все диалектные данные. Конечно, будут появляться новые предположения, новые этимологии. Но ждать что-либо особенно оригинальное, открытое только на почве языка, уже трудно. Вот разве будут найдены новые исторические документы, карты, рукописи, которые могут указать новые пути или подтвердить какую-либо из уже высказанных версий? И здесь немало возможностей для следопытского поиска — прежде всего в архивах.

Профессор А. К. МАТВЕЕВ

жат на себе огромную тяжесть. Вода смыла с них копоть и грязь, они выглядят свежими, будто поставлены совсем недавно. И в самом деле, попробуйте ударить топором — он отскакивает со звоном. За долгие годы, пока выработки стояли затопленными, дерево пропиталось солями, окаменело. Конечно, прочность крепления определяется не только этим. Главное — поставлено оно было умелыми, смекалистыми людьми.

Кое-где на бревнах виднеются надписи, вырезанные ножом, — буквы, имена, слова — память о людях, работающих здесь когда-то.

нии руды, покрывает почву штрека толстым, до метра, слоем. Ходить по нему трудно.

При расчистке ила в шахте были найдены глиняный светильник, проржавевший, сильно сточенный нож, берестяные туесы и просто куски бересты, а также деревянные лотки. В лотках, вероятно, руда дробилась и промывалась прямо в шахте, а на поверхность поднимали уже концентрат. По тем временам это было особенно важно — ведь подъем руды на-гора и сейчас является узким местом, а тогда и подавно — конным воротом много из недр не вытащишь.

Кое-где в стенках сохранились узкие, в два пальца, округлые углубления — «стаканы», остатки мелких, просверленных вручную скважин, уцелевших после взрывания породы. «Стаканы» убеждают в ошибочности распространенного представления о том, что в XVIII веке вся техника на рудниках Сибири ограничивалась киркой да кувалдой.

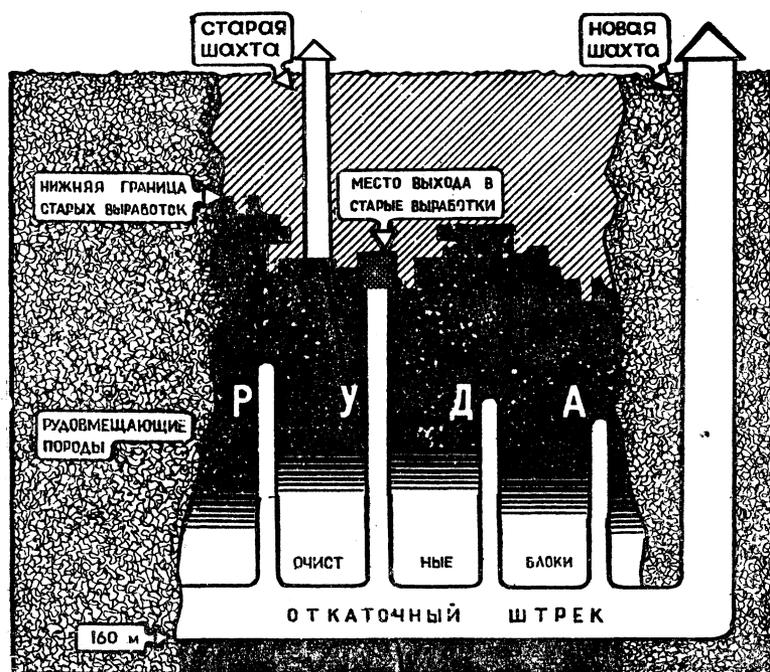
Снова и снова обнаруживаем под ногами большие куски бересты. Неясно, для чего они были нужны. Вероятно, не для освещения — береста сильно коптит. Возможно, что береста просто служила подстилкой — на камнях долго не просидишь, а работали в те годы чуть не круглые сутки. Тех же, кто был «склонен к побегу», из рудника вообще не выпускали.

Откачка воды и сейчас остается «ахиллесовой пятой» подземных разработок. А как же справлялись с ней наши предки? В дальнейшем конце штрека сохранился обшитый досками приямок для сбора воды. Возле него в слое ила были найдены остатки деревянного поршневого насоса. Диаметр поршня около 20 сантиметров, в нем три отверстия, прикрываемые кожаным манжетом. Хорошо сохранился и трубопровод. Он тоже деревянный, состоит из отдельных секций бревен, длиной примерно по метру. Сердцевина бревен высверлена, один конец каждой трубы заточен на конус и плотно входит в следующую трубу. Вероятно, таких насосов на руднике было немало. Во всяком случае, горняки Михайловки успевали откачивать воду с глубины 100 метров, где приток достигал 20 кубометров в час. Наверное, где-то выше были расположены «подстанции», откуда производилась перекачка, — ведь ручными поршневыми насосами высоко воду не поднимешь.

Кое-где в бревенчатом настиле имеются узкие лазы. Возле одного из них лежала короткая лестница-стремянка. Поднять ее оказалось нелегко — она окаменела, стала как чугунная. Сделана прочно, без гвоздей. Вообще, в старой шахте мы не увидели ни одного гвоздя.

Приставив лестницу, вылезаем на потолочину и попадаем в полностью закрепленный бревнами коридор — вдоль стен шеренги стоек, над ними сплошной бревенчатый накат. Лезем еще выше — опять полностью закрепленный коридор, над ним следующий, но туда проникнуть не удалось.

Осмотр крепления убеждает в том, что выемка руды производи-



■ ■ ■ По крепи тихо и печально сползают крупные капли. Дышать трудно. Очень жарко. Когда сюда проникли горноспасатели, температура превышала тридцать градусов. Постепенно она снижается, но и сейчас выше, чем в остальных выработках шахты. Объясняется это тем, что долгие годы в закрытом пространстве происходило окисление сернистой руды под воздействием воды и воздуха, а при этой реакции выделяется много тепла.

Красноватый железистый ил, который образуется при окисле-

Можно предполагать, что лотками пользовалась и «подземная лаборатория». Рудознатцы тех времен определяли качество руды промывкой проб в лотках. В этом они были искусны: богатую руду определяли безошибочно.

Берестяные туески, вероятно, использовались для переноски концентрата.

На Михайловском месторождении руды были богатые, и они выбраны так чисто, что и следов не осталось. Осматривая стенки выработки, нам оставалось лишь удивляться.

лась сверху вниз горизонтальными слоями, сразу по всей мощности и длине рудного тела.

Все отработанное пространство закреплено с таким запасом прочности, что простоят еще сотни лет. Леса в те времена не жалели. Вся крепь сделана из лиственницы. В сообщении Лоншакова указано, что «от тех рудных мест леса черные, листвяк, бережник, верстах в десяти и меньше, и острог поставить и заводы завести для плавки руд мочно, потому что место угоднее».

За XVIII век на Нерчинских рудниках было добыто свыше 500 тысяч тонн свинцово-цинковых руд. Лес вокруг был истреблен.

И места здесь в значительной мере перестали быть «угожими».

Старые выработки Михайловки ныне оконтурены, нанесены на карту и подорваны. Ничто теперь не мешает нормальной работе нового рудника.

Остатки древней техники отправили в музей. Горнякам и раньше случалось видеть старые выработки, но голько в Михайловке они предстали в целостном, нетронутом виде. Это позволило составить ясное представление о системе и технике разработки сибирских руд во второй половине XVIII века. В сочинении президента Российской Берг-коллегии Ивана Шлаттера «Обстоятельное наставление

рудному делу», изданном в 1761 году, подробно описана разработка руд в Западной Европе. Сравнение показало, что по уровню техники сибирские шахты не уступали западноевропейским.

«Путешествие в XVIII век», которое удалось совершить в Забайкалье, представляет не только исторический интерес. Наша горная промышленность в старых рудных районах Сибири, Урала, Средней Азии развивается быстро, и еще на многих месторождениях, вероятно, предстоит встречи «с предками». Опыт, накопленный при знакомстве с ними в Михайловке, поможет специалистам.

А. ЛОКЕРМАН

РУССКИЕ НА ШИПКЕ

В «Уральском следопыте» я прочитал недавно интересное сообщение бокситогорских школьников о том, как они нашли могилу генерал-лейтенанта В. Д. Кренке, и мне захотелось рассказать об этом выдающемся русском военном инженере, участнике многих войн и сражений.

В 1869 году по возрасту и выслуге лет Виктор Данилович в чине генерал-лейтенанта вышел в отставку. Но началась освободительная война в Болгарии, и он добился назначения в действующую армию. Когда русские войска перешли через Дунай и Балканы, Виктор Данилович выполнил особо трудное задание русского командования по исследованию и устройству дорог в северной Болгарии, в том числе и шоссейной на Шипкинский перевал.

Он добровольно остался на Шипке и руководил оборонительными работами и самой обороной перевала от атак турецкой армии Сулеймана-паши в первые три дня исторического сражения на Шипке вместе с генералом Дерожинским. За доблесть, мужество и распорядительность в этом сражении генерал Кренке был награжден орденами Святого Владимира II степени и Святого Георгия IV степени.

Вместе с генералом В. Д. Кренке в освободительной войне в Болгарии участвовала Уральская казачья сотня под командованием храброго и расторопного офицера есаула Кириллова. Эта сотня шла впереди авангарда летучего отряда генерала И. В. Гурко по козьей тропе, считавшейся непроходимой. Казаки должны были проложить путь для движения обозов и артиллерии. Они почти на рысках проезжали по местам, где едва можно было двигаться. Там, где тропинка оказывалась совсем узкой, казаки спешивались и расчищали дорогу. Они сбрасывали с нее камни, ставили знаки, предупреждающие об опасности.

Уральские казаки участвовали в первых боях в Забалканье под деревнями Хаинькой (ныне Гурково) и Уфлани 16 июля 1877 года, несли трудную



Генерал-лейтенант В. Д. Кренке

и опасную разведывательную службу. В дальнейшем они занимали оборону Иметрийского перевала и перешли через снежные Балканы в авангарде отряда генерала М. Д. Скобелева.

Л. ЯШКИН

Это не рисунки-пародии. Я старался не исказить облик «наших младших братьев» какими-либо изобразительными приемами. Но это и не обычные зоологические иллюстрации.

Наблюдая за животными, я заметил, что каждое из них обладает выразительностью, мимикой, характером и чем-то напоминает нас с вами. Мне хотелось обратить ваше внимание именно на это. И может быть поэтому на портретах мои животные несколько очеловечены.

В. РЯБИЦЕВ,
зоолог.



НАХАЛ



ЧЕРНЫЕ МЫСЛИ



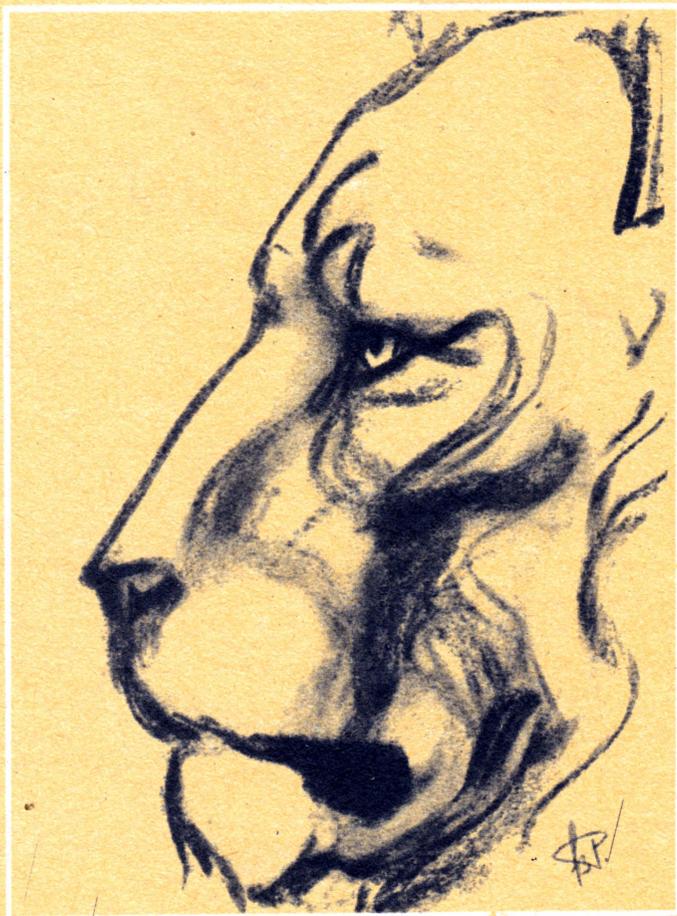
“ ВСЕ В ПРОШЛОМ



САМОВЛЮБЛЕННЫЙ



НЕДОТЕПА



ВЛАДЫКА



ПОДЛЯЯ

РЕСПУБЛИКА «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»



К Северному полюсу — на воздушном шаре!.. Эту идею еще в XVIII веке выдвинул португалец Бартоломео Гузмао. Но первую серьезную попытку добраться до Северного полюса воздушным путем лишь в конце XIX века предпринял швед Соломон Август Андрэ. Многочисленные неудачи предшественников, использовавших с той же целью собачьи упряжки и пешие переходы, заставили Андрэ выбрать именно этот — казавшийся тогда наиболее перспективным — способ путешествия. В 1895 году Андрэ сделал в Шведской Академии наук подробный доклад о своем проекте, который был горячо поддержан учеными и широкой общественностью. Проект шведского инженера встретил сочувственное внимание и в России: в следующем, 1896 году в Петербурге вышел перевод доклада с обширным предисловием издателей.

Наконец после долгих и тщательных приготовлений, 11 июля 1897 года большой воздушный шар «Орел» поднялся в воздух. На борту его были командир корабля Андрэ, физик Нильс Стриндберг и инженер Кнут Френкель. Судьба отважных аэронавтов исполнена глубочайшего трагизма. Почтовый голубь, выпущенный 13 июля, принес первую и последнюю весть с борта «Орла»: Андрэ сообщил в записке, что полет проходит вполне благополучно. После этого в течение 33 лет о воздушном корабле и его пассажирах ничего не было известно. Они, казалось, исчезли бесследно... Только в 1930 году норвежское судно «Братваг», случайно пристав к острову Белому [к востоку от Шпицбергена], обнаружило последний лагерь экспедиции Андрэ. На острове были найдены дневник самого Андрэ, записные книжки его спутников, остатки воздушного шара, вещи. Здесь, на острове Белом, в октябре 1897 года [последняя запись в дневнике Андрэ датирована 17 октября] разыгралась до сих пор не вполне разгаданная трагедия. Дело в том, что, судя по всему, аэронавты умерли почти одновременно, имея при этом все необходимое для многолетней зимовки на острове: запасы продовольствия, спички, примус и керосин, теплую одежду...

Но вернемся в 1897 год.

Пожелтевшие страницы русских газет того времени свидетельствуют о необычайном интересе к судьбе экспедиции Андрэ, проявленном в России. «Где АНДРЭ!», «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С АНДРЭ!» — этими и подобными им тревожными заголовками буквально пестрели русские газеты летом и осенью 1897 года. Срочно и на редкость оперативно была переведена и издана в Киеве книга французских ученых Анри Лашамбра и Алексиса Машюрона «Андрэ. К Северному полюсу на аэростате». В книге подробно рассказывалось о подготовке полета, о корабле «Орел», опубликован текст единственной депешы, полученной с его борта...

Ученые разных стран высказывали различные суждения об исходе экспедиции; некоторые из прогнозов были весьма пессимистичны. Любопытен в

связи с этим такой факт. Французский журнал «Научное обозрение», который с большим интересом отнесся к проектам межпланетных путешествий К. Э. Циолковского, отметил в это время: «Если бы г. Андрэ познакомился с этой книгой [речь шла о книге «Аэростат металлический управляемый», изданной Циолковским еще в 1892 году.— А. Б.], то никогда бы не предпринял своего безумного полета», — настолько ощутимым было превосходство цельнометаллического дирижабля над всеми иными конструкциями аэростатов... Этот штрих очень красноречив: как известно, в условиях царской России гениальные идеи К. Э. Циолковского замалчивались, официальные деятели науки с иронией и высокомерным пренебрежением относились к «проектам» великого мечтателя, проложившего дорогу в космос.

Через два-три года после исчезновения шведской экспедиции пресса успокоилась. По-видимому, все смирились с мыслью о том, что аэронавты погибли...

Но, оказывается, в России произошел любопытнейший эпизод, связанный с загадкой Андрэ: в 1898 году в Петербурге был издан... дневник шведского аэронавта Андрэ!

Однажды, занимаясь в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде, я просматривал опись специальной коллекции рукописей... запрещенных С.-Петербургским цензурным комитетом. Одна запись [под 1898 годом] показалась мне странной: «Рукопись «Дневник Андрэ. Путешествие на воздушном шаре к Северному полюсу»... Позвольте, как же так! Ведь дневник был найден в 1930 году — через 32 года!.. По моей просьбе рукопись с заинтриговавшим меня заглавием вскоре была извлечена из архивных недр и легла на мой стол.

Передо мной была тетрадь, исписанная мелким почерком. Даже беглый просмотр дневника не оставлял сомнений в том, что он **ВЫМЫШЛЕН** и представляет собой не что иное, как научно-фантастический рассказ. В форме дневниковых записей, сделанных якобы самим Андрэ, русский автор рассказывает о том, как шведская экспедиция, приблизившись к Северному полюсу, неожиданно обнаружила среди ледяных просторов океана обитаемый остров. Через некоторое время навстречу «Орлу» вылетели невиданные серебристые машины, и люди, сидевшие в них, пригласили аэронавтов посетить их страну.

Аэронавты застают на острове счастливый народ, создавший республику «Северный полюс», общество будущего, каким оно рисовалось воображению перелетевших людей России того времени. В республике полностью ликвидировано социальное неравенство. Невиданное развитие получили на острове наука и техника. Правда, многие фантастические изобретения, о которых мечтал автор, ныне уже вошли в повседневный быт людей. В рукописи, например, сообщается, что все заседания общественных орга-

низаций в республике транслируются, говоря современным языком, через особое устройство, напоминающее «фонограф и кинематограф, вместе взятые». Это, конечно, телевидение... Впрочем, таков удел почти всех технических фантазий XIX века: они сбылись в десятки раз быстрее, чем предполагали их авторы. Однако другая идея, высказанная в «дневнике Андрэ», интересна и сейчас: на острове ничто не пропадает зря, все отходы утилизируются, превращаясь в различные необходимые предметы. Даже звуки, издаваемые машинами, превращаются во вспомогательную движущую силу.

Но, конечно, вовсе не техническими идеями интересен этот дневник, а изображением социальной жизни общества, хотя она и затрагивается вскользь. По-видимому, автор собирался более подробно поговорить об этом в дальнейших выпусках дневника [в конце рукописи есть пометка: «Продолжение будет. См. выпуск III»]. Современного читателя — любителя фантастики не должно смущать то обстоятельство, что действие рассказа происходит вблизи Северного полюса, где конечно же, нет никаких «неизведанных обитаемых островов». Фантасты XIX — начала XX века, вплоть до открытия Северного полюса, любили помещать там «свои страны». Лишь постепенно «сценической площадкой» научно-фантастических романов становились другие планеты и непосредственно будущее.

Рукопись «дневника Андрэ» обнаружена в коллекции запрещенных сочинений. Значит, она так и не увидела света! Да, действительно, к рукописи приложен доклад цензора Воршева, который доносил начальнику Петербургского цензурного комитета:

«В этой рукописи Андрэ (цензор принял дневник за чистую монету.— А. Б.) рассказывает о полете шара и спуске его в одной из стран Северного полюса и как он и его товарищи были радушно приняты жителями. Описывается, что... жители этой страны все члены одного общества и работают друг для друга. Принимая во внимание тенденциозное направление этой рукописи, предназначенной для широкого распространения, популярное изложение, небольшой объем и дешевизну издания, я, причисляя ее к числу народных и принадлежащих к циркуляру Главного управления по делам печати от 8 мая 1895 года, полагая таковую запретить к печати.

7 мая 1898 г. Цензор Воршев».

Участь рукописи была предрешена. Циркуляр, на который ссылался цензор, предписывал особенно осторожно относиться к изданиям для народа и «...относью не допускать в печать таких произведений, которые по содержанию своему не могут быть признаны безусловно безвредными для народного чтения».

Обещанный «третий выпуск», естественно, также не смог появиться в печати.

Но, значит, был все-таки еще какой-то «первый выпуск», если запрещенную рукопись считать вторым! Да, первый выпуск «дневника Андрэ» благополучно проскочил горнило цензуры и вышел в свет в Петербурге в начале 1898 года.

С одним из сохранившихся экземпляров этой брошюры мне удалось познакомиться в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Здесь рассказываете о подготовке к полету на Северный полюс и о первых днях путешествия. В сущности, почти ничего фантастического в этом выпуске нет, социальные вопросы вовсе не затрагиваются; поэтому-то он и был беспрепятствен-

но допущен к печати. Любопытно предисловие к первому выпуску. «Переводчик» [на самом же деле — автор] «дневника Андрэ» рассказывает, что публикуемая им рукопись вместе с остатками воздушного шара была обнаружена «его знакомым» в лесах Карелии и доставлена в Петербург. Публикация дневника искусно имитирует «пострадавшую от воды» рукопись: многие места опущены с пометками — «здесь текст размыт», «неразборчиво» и т. п. Впрочем, мало-мальски вдумчивый читатель по различным приметам, разбросанным и в предисловии, и в тексте самой книги, прекрасно понимал, что «дневник Андрэ» представляет собой научно-фантастический рассказ, своеобразную утопию — жанр, который имел к тому времени уже многовековую традицию. Знаком был читатель и с давним литературным приемом — публикацией мифических дневников, записок, якобы найденных в бутылках, выброшенных морской волной, и т. п.

В данном случае мы имеем дело именно с литературным приемом. С его помощью автор, учитывая колоссальный интерес русских читателей к судьбе пропавшей экспедиции Андрэ, хотел познать их с устройством будущего общества. Возможно, эта идея возникла у него под влиянием строк знаменитого стихотворения поэта пушкинской поры Н. М. Языкова «Пловец».

Там, за далью непогоды,
Есть блаженная страна...

Одновременно эта «маска» должна была облегчить прохождение выпусков сквозь цензурные преграды. Однако, как мы видели, цензуре удалось под фантастической оболочкой рассмотреть сугубо «земное», реальное содержание «дневника». Царская цензура накопила к этому времени большой «опыт» борьбы с научной фантастикой, затрагивающей социальные проблемы: к началу XX века ею уже было запрещено свыше двух десятков фантастических романов¹.

Но кто же был автором «дневника Андрэ»? Дело в том, что и вышедший в свет первый выпуск «дневника», и запрещенная рукопись второго имеют одну и ту же подпись: «Перевел с французского и шведского А. Ва-ский». Очевидно, «А. Ва-ский» — псевдоним автора дневника, но, к сожалению, ни специальные словари псевдонимов, ни литературные и архивные источники не дают расшифровки подлинной фамилии автора. Возможно, дальнейшие поиски позволят найти сведения о человеке, мечтавшем в те мрачные годы о светлом будущем на Земле.

С именем аэронавта Андрэ связан еще один любопытный эпизод, также не обошедшийся без вмешательства царской цензуры.

Известнейший популяризатор науки В. В. Битнер, заинтересовавшись судьбой экспедиции, решил ее... прояснить. В литературной, конечно, форме. Он написал большой рассказ, озаглавленный «Как я отыскал Андрэ у полюса», и опубликовал его в семи номерах знаменитого сойкинского журнала «Природа и люди» за 1899 год.

Герой рассказа, мальчик Коля, неожиданно получает письмо из Америки от своего друга, который изобрел некий летательный аппарат. На этом аппа-

¹ О некоторых эпизодах борьбы царской цензуры с научной фантастикой см. в № 5, 1970 и № 3, 1972 нашего журнала. — Ред.

рате они отправляются к Северному полюсу и где-то возле Новосибирских островов находят останки отважных путешественников, разбиившихся во время падения аэростата.

В. В. Битнер не угадал: судьба экспедиции была иной. Но автор и не стремится ввести читателей в заблуждение. В примечании к рассказу он пишет: «Настоящий рассказ представляет попытку разрешить интересующий теперь весь мир вопрос о судьбе Андрэ. Фабула рассказа, конечно, вымышленная». Появление такого рассказа, несомненно, было вызвано страстным сочувствием к судьбе аэронавтов, стремлением хотя бы в фантазии «найти» их.

Но этот благородный порыв писателя вызвал неожиданное сопротивление охранителей, на этот раз цензоров другого рода — царских педагогов.

Особый отдел Ученого комитета министерства народного просвещения, созданный еще в 60-х годах прошлого века, главной своей целью поставил борьбу с «развращающим» влиянием современной литературы. К фантастике же особый отдел всегда относился подозрительно — как к «чтению вредному, возбуждающему интерес, но не дающему здоровой пищи для ума».

Прочитав рассказ Битнера, член Ученого коми-

тета Шимкевич пришел к такому заключению: «Мне кажется, что направление журнала скорее вредно, чем полезно для педагогических целей». На основе этого отзыва «Природа и люди», один из лучших дореволюционных журналов, был запрещен к выписке в библиотеки учебных заведений и бесплатные народные читальни...

В отзыве Шимкевича отразился, как в капле воды, узколобый подход царских педагогов к фантастике. Иногда, впрочем, и трудно было ожидать, ведь даже такую безобидную книгу, как «Приключения барона Мюнхгаузена», Ученый комитет в 1900 году исключил из состава библиотек! Бедный барон был отнесен к «книгам очень известным, ввиду читаемым, безвредным, пожалуй, даже забавным, но вряд ли желательным в школьной библиотеке». В дальнейшем «педагогическая» цензура будет яростно бороться с научной фантастикой: вплоть до октября 1917 года подавляющее большинство фантастических произведений было запрещено приобретать в народные и школьные библиотеки.

А. БЛЮМ, кандидат филологических наук

НОВИНКИ

Геннадий ГОР
ИЗВАЯНИЕ.

Л., Изд-во «Советский писатель», 1972, 240 стр.

Герой-рассказчик новой книги Г. Гора, вернувшись со звезд, попадает в мир, постаревший на полстолетия, во многом изменившийся, во многом неузнаваемый. Среди чудес этого нового мира — главная героиня романа Офелия, женщина-книга, романтический символ поэзии, сказки, мечты...

Виктор КОЛУПАЕВ
СЛУЧИТСЯ ЖЕ С ЧЕЛОВЕКОМ ТАКОЕ!..

М., Изд-во «Молодая гвардия», 1972, 272 стр.

Первый сборник повестей и рассказов молодого томского фантаста. Читатель встретит здесь невероятный мир, где наука и искусство поменялись местами; ребяташек, от имени человечества дающих кров и приют пришельцам из космоса; космонавта, чья любовь к родной Земле заставила ожить мертвую планету; героя

еще одного рассказа — человека, обреченного на безвестность, но продолжающего вдохновенно творить...

Георгий САДОВНИКОВ
ПРОДАВЕЦ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

М., Изд-во «Детская литература», 1972, 287 стр.

Перенздание повести-сказки о необычайном путешествии астронавта и его друзей. На звездолете «Искатель» они попадают в самые невероятные ситуации: встречаются с космическим Робинзоном, пиратами, рыцарем и даже с Бабой-Ягой и ее родственниками...

НА СУШЕ И НА МОРЕ

М., Изд-во «Мысль», 1972, 560 стр.

Очередной — двенадцатый — выпуск художественно-географического альманаха. Значительное место занимают в нем научно-фантастические произведения советских и зарубежных фантастов. Герои одного из них — ученые коммунистического будущего —

создают искусственным путем прекрасных и мудрых кентавров древнегреческих сказаний. Кентавров ждет далекая Титания — чудесная планета, из-за удвоенной силы тяжести недоступная для земных людей...

Н. Ф. СБОРНИК НАУЧНОЙ
ФАНТАСТИКИ. ВЫПУСК 11.

М., Изд-во «Знание», 1972, 240 стр.

В очередном выпуске сборника — новая «космическая» повесть Кирилла Булычева «Великий Дух и беглецы», рассказы Дмитрия Биленкина, Романа Подольного, Ильи Варшавского, Сергея Жемайтиса и других известных и только-только начинающих советских фантастов. В разделе «Листая пожелтевшие страницы» опубликован вышедший впервые семьдесят лет назад научно-фантастический очерк инженера А. А. Родных «Самокатная подземная железная дорога между С.-Петербургом и Москвою».



Фантастический рассказ

*...ранние предтечи
слишком медленной весны.
Ф. Тютчев*

Центральный комплекс Медицинского исследовательского института имени де Голля представлял собой два параллелепипеда — в двадцать один и тринадцать этажей, — возвышавшихся над раскинувшимся вокруг парком, словно поставленные на попа кирпичи. Третий горизонтально пересекал их со второго по четвертый этаж, так что фасад напоминал небрежно написанное Н. На крыше далеко вылетавшего в сторону крыла разместилось кафе, защищенное от солнечных лучей тентом из пленки. Свет здесь был рассеянный и мягкий, а мощные кондиционеры позволяли свободно дышать даже в тридцатиградусную жару.

Чудин наискось пересек кафе и сел за угловой столик спиной к залу. Сквозь завесу из декоративного винограда просматривалось шоссе Бержерак — Либуρν, по кото-

рому иногда проскакивали машины — по большей части легковые. До вечернего заседания оставалось около часа, и Чудин не торопился. Напряжение, владевшее им во время выступления, спало. Сейчас ему хотелось выпить кофе с бриошами и посидеть, не думая ни о чем серьезном, чтобы дать мозгу такой же полный отдых, какой дает телу савасана хатха-йогов.

— Простите, месье Чудин...

Сзади стоял человек лет тридцати пяти — сорока. На круглом значке, приколотом к лацкану светло-серого пиджака, было написано: «Пресса. Сьянс э ви. Гийом Эме». Чудин тоскливо вздохнул.

— Прошу вас, месье Эме.

Тот улыбнулся, сел, положил на стол плоскую коробочку диктофона.

— С вами приятно иметь дело, месье

Чудин! Сегодня я уже имел удовольствие слушать ваш доклад, но... Видите ли, «Съясн э ви» — издание популярное. Не согласитесь ли вкратце пересказать свой доклад так, чтобы это было понятно не только специалистам, но и нашим подписчикам? Им это, безусловно, будет интересно — ведь проблемы геронтологии волнуют каждого, каждому хочется жить, и жить долго... И, конечно, мы будем крайне признательны, если вы в нескольких словах охарактеризуете общее состояние геронтологии сегодня.

— С этого я и начну, — сказал Чудин, — тем более, что на нынешнем Конгрессе основные течения определились особенно четко.

— Каковы же они, месье Чудин?

— Прежде всего это классическая геронтология, то есть поиск, описание и изучение случаев естественного долголетия.

Затем — американская кибернетическая школа, представление о которой дает доклад доктора Смейерса. Считая человека морально устаревшей биомашинной, эта школа предлагает усовершенствовать его, превратив в «киборга» или «сигома». Для этого человеческий мозг должен быть помещен в тело, состоящее из легко заменяемых блоков, что открывает широкие перспективы к развитию и усовершенствованию «сигомов», дает возможность оснастить их рецепторами и эффекторами, человеку не присущими. Заменяя блоки по мере их изнашивания или устаревания, человек станет практически бессмертным. Впрочем, не человек. Ибо на смену Гомо сапиенс в этом случае придет Сигом сапиенс, столь же чуждый нам, как «маленькие зеленые человечки».

В-третьих, это биопротезирование. Последователи этого направления предлагают заменять изношенные или травмированные органы человеческого тела биологическими протезами, трансплантируемыми от доноров или же выращиваемыми искусственно. Процесс может повторяться неограниченно. В основе эта школа близка к кибернетической, хотя и уступает ей в смелости, так как не предполагает усовершенствования человека, который остается зато тем же Гомо сапиенс.

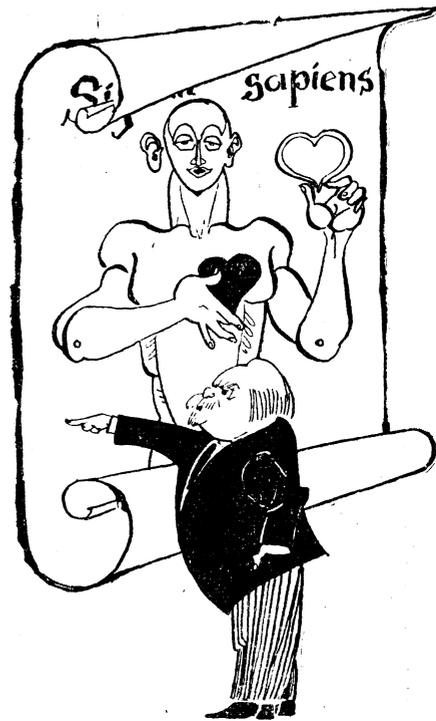
Четвертую школу можно назвать социальной. Ее положения таковы: человек живет в крайне неблагоприятных условиях — в загрязненной среде, зачастую в конфликте с обществом и так далее. Если убрать все эти вредные влияния, его жизнь удлинится без вмешательства в биологию до 300 по одним и 900 лет по другим прогнозам.

Все это — конечные цели, сверхзадачи, к которым пока еще делаются лишь первые шаги. Сегодня последователи всех школ решают строго локальные задачи, о характере которых можно судить по выступлениям на Конгрессе. Работа, выполненная нашим институтом, аналогичного свойства. Мы исходили из того, что процесс старения объясняется дефектами в производстве клеточного белка. Для борьбы с дефектными белками мы прибегли к тому же способу, что и природа, то есть к антителам. Сходную работу несколько лет назад выполнили биохимики лаборатории Оак Ридж в Ноксвилле. Они пересаживали костный мозг, орган, вырабатывающий антитела в организме. Это привело к значительному удлинению жизни: вместо средних 156 недель подопытные мыши жили 200—205. Мы же синтезировали искомые антитела искусственно. Останавливаться на технических подробностях в популярном обзоре, думаю, нет смысла.

— Благодарю вас, месье Чудин! Еще один, последний вопрос: какая из перечисленных школ соответствует вашим личным взглядам?

Чудин задумался.

— Мне кажется, истина должна лежать





не на каком-то из этих путей, а на их перекрестке. Недаром говорят, что мы живем в век синтеза: продуктов питания и пластических материалов, науки и искусства...

— От имени наших подписчиков благодарю вас, месье Чудин! — Эме поднялся, поклонился и переключился за другой столик, где о чем-то беседовали, оживленно жестикулируя, Бенини и Грассо.

Вечернее заседание было не особенно интересным. Профессор Хартмут докладывал о новом способе связывания свободных радикалов в клеточном белке. С работой этой Чудин был в основном знаком — как по опубликованным материалам, так и по непосредственным наблюдениям: в прошлом году ему довелось побывать в Эдинбургском Королевском биохимическом институте. Главное же, Чудин не считал это направление правильным. Все это: антитела, связывание свободных радикалов, удаление из организма тяжелой и сверхтяжелой воды — лишь попытки оттянуть неизбежный финал, *exitus letalis*. Организм — полностью автоматизированная фабрика по производству белка. До какого-то момента она работает исправно, производя брак лишь изредка, случайно, в совершенно безопасных количествах. И вдруг происходит «диверсия». Фабрика начинает вырабатывать все больше брака, наконец — только брак. Начинается эскалация производственных дефектов, катастрофа ошибок. И все, что делают пока геронтологи, — лишь попытка компенсировать этот брак в организме, борьба с последствиями «диверсии», а не с ее первопричиной. В то время как главное — найти «диверсанта», притаившегося в закоулках генетического кода, найти и своевременно обезвредить. Но — как? До чего же это унижающее чувство — томительное бессилие разума!

Вечером его спутники по делегации поехали в Бержерак. Чудин остался, так как уже побывал в этом провинциальном городке, гордящемся, что он — родина Сирано де Бержерака (хотя родился сей бретер, поэт и мыслитель, увы, в Париже...), маршала Ла Форса, метафизика Мэн де Бирана и энциклопедиста Проспера Фужера. Чудин осмотрел все места, связанные с этими именами, заглянул в книжные магазины, побродил по набережным Дордони... Больше ему нечего было там делать. Вдобавок сегодня его пригласили Лафаржи, а получить от французов приглашение домой — в высшей степени лестно.

Лафаржи были милой и интересной па-

рой. Оба они работали здесь же, в институте де Голля. Чудин зашел в номер, переоделся и через парк направился к их коттеджу.

Институт занимал обширную территорию, расположенную на берегу Дордони километрах в десяти ниже Бержерака. Кроме центрального комплекса, здесь были два больших лабораторных корпуса, виварий и многоквартирный жилой дом для младшего персонала — профессорский состав жил в коттеджах, разбросанных по прибрежной части парка.

К себе Чудин вернулся за полночь.

Забавно, думал он, приняв душ и растягиваясь полотенцем, на всех подобных симпозиумах, коллоквиумах и конгрессах самое интересное — не официальная часть, которую можно представить себе заранее, не работа семинаров и комиссий, а кулуарные разговоры, встречи, свободный обмен мнениями. Один этот визит к Лафаржам дал не меньше, чем два дня заседаний...

Чудин совсем уже собрался лечь, как вдруг заметил лежавшую на тумбочке у постели книгу. Мгновение он смотрел на нее, припоминая. Ах, да!

После вечернего заседания его остановил в коридоре человек невыразительной, незаметной какой-то наружности, от которой сохранились в памяти лишь темные очки в роговой оправе да алая розетка ордена Почетного легиона. Человек взял Чудина под руку, увлек в боковой холл и усадил на диван.

— Я задержу вас всего на несколько минут, месье Чудин! Позвольте представиться: Анри Жермен, писатель. Точнее, писатель-фантаст, чем и объясняется мой интерес к науке, побудивший меня достать гостевой билет на этот Конгресс. Я слушал сегодня ваш доклад — это чрезвычайно интересно. Я всегда стараюсь следить за новыми работами в наиболее интересных областях науки, к которым, безусловно, принадлежит биология вообще и геронтология в частности. И мне хочется попросить вас принять в подарок мою последнюю книгу. Тем более, что в ней затронут ряд вопросов, связанных с... ну, скажем, геронтологией.

— Спасибо, месье Жермен, — сказал Чудин. Он не слишком увлекался фантастикой, хотя и не пренебрегал ею, подобно некоторым своим коллегам. — Прочитаю с удовольствием. Во всяком случае, с интересом — это я могу обещать твердо.

Жермен достал из своего портфельчи-

ка-атташе книгу в яркой суперобложке, написал несколько слов на форзаце и с улыбкой протянул Чудину...

Чудин дернул шнурок торшера, улегся поудобнее, взял книгу в руки. Называлась она довольно претенциозно — особенно для Франции — «Агасфер», хотя по объему была раза в четыре меньше сочинения Эжена Сю.

...Героя книги звали Анн де Ла Ним. Он родился в 1152 году, ознаменованном бракосочетанием Алиеноры, последней герцогини Аквитанской, с Генрихом Плантагенетом. Сын конюшего графа Тулузского, он воевал и кутил, предавался любви и обжорству, — словом, был истинным пантагрюэлистом, хоть и родился тремя веками раньше основоположника учения. Но постепенно пришло пресыщение. А его живой провансальский ум требовал пищи.

Он примкнул к катарам, вскоре став одним из «посвященных» этого вероучения. Когда папа и король французский ополчились на альбигойскую ересь, он, сменив рубище на доспехи, стал под знамена своего сюзерена Раймунда VI, графа Тулузского, забыв, что вера запрещает ему проливать кровь.

Был он и в числе последних защитников Монсегюра и тайным ходом, с шестью другими «посвященными», бежал из замка в ночь накануне резни, унося книги — главное сокровище альбигойцев, фигурировавшее среди непосвященных как «чаша Святого Грааля».

Такая трактовка Святого Грааля показала Чудину любопытной. Чаша — и книги? Впрочем, из книг пьют — знание. Как из Божественной Бутылки Рабле...

Судьба щадила Анн де Ла Нима. Не раз ускользал он от верной смерти, не раз был ранен, но — оставался жив. Во время осады Монсегюра ему было уже под семьдесят, хотя выглядел он сорокалетним. Сорокалетним он выглядел и тогда, когда понял вдруг, что живет не просто долго, а непозволительно, невозможно долго: потому что ему перевалило за двести лет. Пытаясь понять, почему так, он занялся медициной. И преуспел в этом занятии, прославившись впоследствии под именем мэтра Амбруаза Парэ. Говорили, что Парэ владеет эликсиром бессмертия. Ложь! Он просто был бессмертен. И кончина его в 1590 году была не более чем спектаклем, разыгранным в то изобиловавшее, помимо всего прочего, театральностью время: ясно стало хирургу Амбруазу Парэ, что основная его работа

отнюдь не врачевание, а составление ядов для Медичи и других...

Анн стал осторожен. Он понял, что ему лучше жить незаметно, меняя имена, прячась в глуши.

Снова объявился он лишь в 1750 году — под именем графа де Сен-Жермен. Приблизенный ко двору, обласканный всецельной маркизой Помпадур, он быстро сколотил состояние, необходимое для жизни (ибо он привык жить, не отказывая себе ни в чем) и своих исследований, — и вновь удалился в свой замок, в далекую Голштинию.

Многое и многих повидал он за свою жизнь. Он беседовал с Эразмом и Мором, Артефиусом и Ньютоном... Как ни старался он жить спокойно, укрывшись в глуши своего поместья, войны Европы неумолимо вовлекали его в свою кровавую круговерть, а тяга к познанию нового то кидала на борт идущих в Новый Свет каравелл, то гнала в далекое царство пресвитера Иоанна или империю Великого Могола.

Умирили его друзья. Он жил.

Умирили его враги. Он жил.

Умирили его жены, дети и дети их детей. Он жил.

Жил, постепенно все больше подчиняя себя одной цели — стремлению понять, почему он живет...

Чудин с трудом оторвался от чтения. Было уже больше трех. Ох, и не выплусь же я, подумал он, и прикинул: оставалось чуть меньше половины. Он закурил, положив книгу на грудь и глядя в потолок.

Безусловно, этот Жермен талантлив. Только настоящий талант способен создать такую достоверность. Не сочную, красочную достоверность романов Дюма, а не привычную для фантастики и потому тем более впечатляющую достоверность старой черно-белой кинохроники. Часто автор уходил от веками устоявшихся исторических представлений, но каждый раз его версия оказывалась убедительной, неправдоподобной порой, но вместе с тем удивительно реальной — как сама жизнь.

Чудин снова углубился в чтение.

...1970 год. Под именем профессора Леонара Дюбуа Анн де Ла Ним стал работать в Лионском институте геронтологии. Нет, он не нашел еще разгадки своего долголетия. Но некоторые мысли у него уже появились.

Бессмертие — что оно такое? Скажем так: неограниченное долголетие. Человек, наделенный таким бессмертием, может умереть от болезни или погибнуть в авто-

мобильной катастрофе. Такое бессмертие, в отличие от бессмертия — неуничтожимости, бессмертия — феникса, философски допустимо. И к нему человек стремился всегда.

Старение — это технология смерти, фокус саморазрушения генетического кода. Отдельные клетки человеческого тела, помещенные в питательный раствор, сперва развиваются подобно нормальным одноклеточным, но максимум через 50 делений, за пределом Хайфлика, их колония гибнет, тогда как обычная амеба может делиться бесконечно. Почему? Потому, что смерть — орудие эволюции, ибо только смертность индивида дает виду возможность эволюционировать, а значит — выжить.

Но... Привычные сроки жизни давно не устраивают человека.

В принципе человек бессмертен. Но есть в нем аппарат, который по достижении определенного возраста начинает вводить в процесс клеточного воспроизводства намеренные ошибки. Можно и нужно найти эту адскую машину эволюции, найти и обезвредить. И сделать это должна геронтология.

Однако, как всякий аппарат, эта адская машина иногда не срабатывает. Вот тогда-то и появляется на свет Агасфер и Анн де Ла Ним, Элиас и Аполлоний Тианский. Будущее отбрасывает свои тени в настоящее — гласит английская пословица. Эти люди и есть такие «тени будущего», бессмертные предтечи грядущего бессмертного человечества...

Чудин закрыл книгу.

Многие из высказанных Жерменом мыслей можно развить на более высоком научном уровне, гораздо подробнее и точнее. Впрочем, в романах этого и не требуется. Нет, но каков этот самый Жермен!

Чудин вспомнил лицо фантаста: невыразительное, неброское, с тонкими, но блеклыми какими-то чертами — лицо человека неопределенного возраста. Пожалуй, самое запоминающееся в нем — очки. А если их снять?

Нет, недаром лицо это в первый же момент показалось Чудину безотчетно знакомым! Когда он мысленно попробовал снять с фантаста очки, он понял это наверняка.

Они уже встречались однажды. Это было в 1756 году в Париже. Чудин состоял тогда в русском дипломатическом корпусе, а писателя Анри Жермена знали как графа де сен-Жермен...

Рисунки Е. Стерлигской



ДРУЗЬЯ
Фото С. Юдина (г. Курган)





РАССКАЗ

МЕЖДУ

ИВАН

Рисунки

— Ох, тошно мне! Да где же вас носило?— причитала бабушка.— Да что это такое: отправились на часок и нет их, нет, на что думать, не знаешь. К Веньке, небось, бегали, головы несносные, непутевые? Послать куда, не дозовешься, а мяч гонять да обутку драть... Ну, умываться, кому говорю? Поди, голоднехоньки.

Братцы-двойняшки завели наперебой:

— Баб, мы не на футболе...

— Баб, лес-то!

— Лисица!— крикнул Олег.

— В норе-е!— перебил его Игорь.

Лес? Лисица? Бабушка всерьез расстроилась. Однако виду не подала. Ребята и есть ребята. Лучше не обращать внимания. А то сегодня — лес, а завтра — на реку без спро-

су. Известно, близнецы: куда один, туда и другой. Друг перед другом выставляются.

— Ну, внуки, горе мне с вами. Нанятая я, что ли, день-деньской у горшков толочься?

И погнала братцев к умывальнику, попутно награждая шлепками по стриженным затылкам, будто проверяя, на месте ли их несносные головушки.

Отец вернулся с работы в неурочный час, рано. Телевизор включил и взялся за газету, что было признаком — он не в духе.

Переминались, посапывали братцы в носы.

— Па-ап,— затянул Игорь.

— У нас нора,— опередил его Олег.

— Мне бы ваши заботы!— отец развер-



РОСАМИ

ПОЛУЯНОВ

Н. Мооса

нул газету, словно отгораживаясь. Не станешь же им рассказывать, что поломался трактор, а нужной запчасти, как назло, не нашлось. Работа стала, и на склад ехать бесполезно: уже закрыт.

Мальчики приуныли: никому нет до них дела. Бабушка слушать не хочет, отец отгородился газетой, и мама на работе, придет, когда бабушка спать заставит.

В общем-то они сегодня к Веньке направлялись. По маминой тропке. Так быстрой: огородами вниз, потом через мост и лугом, озимыми, мимо перелеска...

Вниз тропка стелется, а ну — наперегонки, а ну — кто кого?

Тропка виляет, на угор карабкается, и ты пыхти и карабкайся.

Наперегонки неслись, пыхтели. Уже приусти было, когда наперерез из травы скользнуло в кусты что-то рыжее, пушистое...

Братцы обмерли, дух занялся. Да как завопят, кто кого пуще:

— Лиса-а!

— Лиса-а-а!

Дружно полезли в кусты. Просто так. От радости, что лису увидели.

Их вторжение вызвало в перелеске переполох. Ведь на соснах видимо-невидимо гнезд дроздов-трещоток. Разорались трещотки, хоть уши затыкай.

Мало-помалу углубились ребята в перелесок. Пни, валежник, иструхшие, подернутые зеленым мхом колодины, лужи дегтяр-

но-черной стоячей воды. Пусто, дроздов и не стало. Сучья свет застыли, дятел в суши-ну колотит: тук-тук... Жуть забирает, до чего гулок под сводом хвои, листьев в сумеречной тиши любой звук и шорох. Шмель гудит, как трубач в медную горластую трубу: ж-жи... ж-жи! Завозился жук, шмякнулся с ветки. Хорошо, что в мох. Не то бы на версту раздалось, как грохнул оземь.

Боязно, мороз по коже — лес так лес. Примолкли дети, заозирались: во попали... во куда попали! Никакой у них причины не было дальше пробираться. Всяк смекнет: лиса — это тебе не разиня полоротая, чтобы дожидаться. Но именно отсутствие ясной цели и позывало ребят лезть в чащу. Колодины коварно прятали во мху острые, как шипы, обломки сучьев. Елки щетинились колюче. Кусты сплетались густой сетью. Ополчался лес против нарушителей его покоя: не пушу-у-у... «У-у-у», — чудилось в угрожном шорохе ветра. Небо вверху едва-едва проглядывало, иногда лишь угадывалось за плотной сучьев, листьев, стволов. Не то, что в полях, на просторе — там земля широкая-широкая, раздолье неохватное и небо просторнее. В лесу же вроде и неба-то нет. Мелькнет, просинеет щелочка узенькая, и все.

Копешки хвойных игл, хлама — мурашей-то на них, так и кипит!

Шершавые стволы елок в капельках смолы.

Цветы в траве — белые-белые с нежными зелеными жилками...

Попробовать бы, а? Поели цветочков — кислые, но приятные. Наколупали смолы — во смак, во где смак, эта желтая смола, только жуй, да не прожевывай и не глотай!

Хвойные лапы качались, трепетала, струилась листва. Лес жил. Он дышал, и отдавало его дыхание прелью мхов и древесной сыри. Он сам жил и давал жить другим: птицам и шмелям, мурашам и комарикам, которые стайкой плотной, похожей на сизый дымок, танцевали у хвойной лапы.

— Олег, слышишь? До нас здесь никто-никто не бывал!

— Ага...

Почему-то не требовалось доказательств, что в перелесок они ступили первые, что до них никому лес не открывался — гнездами дроздов, прогалинами с белыми цветами, папоротниками и крапивой. Лес и дышал для них одних и больше не цеплялся сучьями, не подставлял шипов на колодинах.

Потом откуда-то взялась сойка. Близко

подпустила. Блестящим глазком скашивала и показывала, как у ней поднимается хохол на носатой головке. А на плечах-то по зеркальцу! Зеркальца синие-синие. Хочешь — посмотришь!

И посмотрелись — чего такого? Посмотрелись — лес увидели и себя, в одинаковых трусах с помочами, в панамках.

Улетела сойка, унесла зеркальца и вместо себя выставила рыжую белку.

Уж забавляла их игруня, уж вертелась, хвостом дергала! Приглашала. Ага, на елку. Чтобы никаких сомнений не оставалось в ее намерениях, белка бросила шишкой и прищелкнула: а вот не поймаете... а вот я убегу! И не убегала вовсе. Поклясться могли ребята: нарочно дразнилась, завлекала.

Они не удивлялись. Принимали как должное и то, что лес дышит, и то, что у птицы сойки зеркальца на плечах. Синие-синие зеркальца — в них ребята поверили. Всегда нужно что-то, наверное, самое важное, принимать на веру, без доказательств, — иначе зеркальца обратятся просто в перья, лес будет просто лесом, белка уронит шишку просто с испугу.

Как должное, они приняли поэтому и самый щедрый лесной дар: у подножья оврага, в песчаной осыпи была нора. Понятно, лисья. Понятно, жилища! Какая же еще? Так и должно было случиться, чтобы шли они, шли — от дроздов к лужайкам, залитым жарким, процеженным сквозь хвою солнцем, от муравьиц к сойке, затем к белке, чтобы им открылась в конце концов лисья нора!

Ребята не спустились к норе. Открыто, простодушно темнело круглое устье в подземную пещеру, на былинке пушок колыхался, журчал ручей в камнях.

Ручеек вызванивал. Стрекоза крылышками дребезжала. Папоротники распрямляли свитые, как улитки, зубчатые листья-опалы.

Простодушно темнело устье пещерки, и никакого сомнения не было, что нора-то жилища, лисята пищат.

Пищат, пищат — поди, им страшно? Маленько-то страшно в подземелье, в потемках?

— Олег, — тронул Игорь брата за рукав, — а ведь перелесок-то у нас из окна видно!

Вызрели звезды. От воды и камней натягивало простудным ознобом. Густела испарина, выступившая на листьях и траве,

перед входом в нору метельчатая былинка напряглась от груза влаги и сникла. Утром, чуть обогреет солнцем, потечет с травы, застучит с деревьев роса. Изобильная, сладкая — с цветов; моросливая и горькая — с ольшин, с елок.

Чу! Легкий топот...

Матка разобрала: стучит коготочками еж — и продолжала обманывать себя, что это лисовин с добычей. И кончится нужда, будет молоко, и сыто уснут лисята...

Еж, фыркая, протопал наверху. Задетый его лапкой, оборвался камешек, скатился, подпрыгнув, булькнул в ручей.

Пролетая под звездами, вальдшнеп обронил звучно:

— Хор-хор... цвись!

Должен быть, непременно должен быть сегодня лисовин!

Он подходил. Его отпугнули ребятишки.

Скулят лисята. Просят накормить. И живот у нее подвело, ни капли у лисы молока...

Матка легла. Было больно. Очень больно, когда малыши слепо тыкали в живот, царапали и кусали тощие соски. Больно, очень больно, если голодные дети, — можно обмануть себя, но не детей.

Ее поташнивало. Лиса смеживала веки. Роились в голове видения — дальней приречной низины, удачных охот, игр и забав мартовской гулевой поры.

На зиму лисица покидала полевые угодыя ради безлюдной глуши Присухонья.

Ушла одна, возвратилась по весне вдвоем, гордая и счастливая...

Что за шуба у дружка — огонь! Что за манишка на широкой груди — снег белый! А манеры, а выправка... Ни одной ночи не обходилось без драк между местными лисовинами и пришлым красавцем, лязгали зубы, клочьями летела рыжая шерсть.

Задира и гуляка, он был отнюдь не домосед: являлся в семейную нору зализывать раны да хвастать победами.

Сошли снега.

И лисовин заскучал, поневоле теперь прикованный к норе в перелеске.

Первый в драках. Первый в слежке тетеревов и зайцев...

Но рассеялись лисьи сборища. Где тут быть обилию тетеревов и зайцев — чуть ли не окраина большого города?

С огорчительным запозданием, не давшем ей чести, матка поняла: туп и труслив ее франтоватый щеголь!

В любом прохожем лисовину мнился враг. Тракторы, гудевшие на пахоте, внушали ему ужас. Люди... Всюду люди! Между

тем, люди людям рознь — дикарю это пора усвоить. Конечно, всего лучше никому не попадаться на глаза. И попадешься — тоже ничего страшного. Утром спешат женщины спозаранок на ферму, трактористы — к машинам: им не до лисиц, шныряющих украдкой в полях. У всех свои заботы. А тракторы железными плугами вспарывают землю, словно лишь за тем, чтобы выпугивать мышей. Тут не теряйся и лови, если ты умная лиса! Вообще люди расточительны. Достаточно посетить свалку, чтобы убедиться: следочные головки, тухлые яйца, куски заплесневелого сыра... Ешь — не хочу!

На свалку — лисовин уперся и не пошел.

К шоссе — едва лиса его увлекла.

Тупица загодя ерошил загревок. Дрожал и прижимал уши, объятый страхом.

По шоссе со свистом проносились легковые, грохоча — дизельные с прицепами, самосвалы, груженные щебнем. Попадались и колхозные, которые развозили семена. В щели кузовов сыпались зерна, привлекая покормиться в утреннюю рань лесных и домашних голубей, горлиц и стайки овсянок.

Неохотно взлетая при приближении машин, голуби перемещались по обочине взад и вперед.

Подал пример: делай, как я, — лисица ползком одолела кювет и замерла в бурьяне у кромки асфальта.

Лисовин не посмел оставить кусты. Его трясло. Омерзительно воняло бензиновой гарью, резиной и железом. Дикарь страдал, униженный и смятый страхом.

А расчет лисы оправдался.

Тормозя крыльями и хвостом, расправив его, как веер, сел к россыпи зерен матерый вяхирь. Сытый. С тугим зобом.

Прыжок — сомкнулись зубы на птичьей шее.

Асфальт, припудренный инеем, был скользок, на прыжке с визгом черкнули когти, подоспевший грузовик, казалось, швырнул лису себе под колеса...

Лисовин пустился прочь. От машин, от шоссе... Дальше и дальше, куда хватило сил...

В лесу он мало-помалу опомнился. Попил из лужи. Похватал перезимовавшей брусники с кочки и съел лягушку. Холодная, противно склизкая... бр-р!

Приподнял заднюю ногу, чтобы на пеньке оставить метку. И опустил. Метить, как свою собственность, этот квельый лесок, где небось, кроме противных лягушек, и дичи-то нет... Э, не так он низко пал!

Превозмог себя лисовин и вернулся к

шоссе. Жива и невредима, подруга приканчивала в кустах вяхиря. Лисовин сконфузился: кому мяско, кому лягушки... Ну и жизнь! Поступившись гордыней, все же потянулся к обедкам.

На обратном пути повезло и ему: на меже подобрал мертвого зайца. Лисы не брезгливы к падали. Лисовин учтиво предложил зайца подруге, а вместо благодарности получил зубами в бок.

За что?

Лисовин недоумевал, таща находку в зубах.

Забравшись в перелеске в нору, лисица не показывалась из нее долго: у нее появились дети.

Лисовин скопидомничал, берег для нее зайца и, не выдержав, соблазнился.

Съел и занемог. Видимо, заяц погиб, отравившись удобрением, и сам стал отравой...

Скулят детеныши. По приметам, сегодня прозреют. Они уже слышат, теперь будут и видеть. Чем их встретит мир?

Холодно. Заметнее пар дыхания. Придет? Не придет? И придет-то — мало от большого проку. Лиса вздохнула. Отзывчиво колыхнулась былинка. Обвисшие светлые капли росы сгрудились, под их тяжестью травинка надломилась. Ах, как все непрочное на свете!

Оттащив лисят в отнорок, откуда им не выбраться самостоятельно, матка выскользнула наружу.

В полях рокотали тракторы. Всю ночь, как и прошлую и все, какие впредь будут, бессонно жило шоссе светом фар, гудками автомашин, гроыханьем бортов, шелестом шин. Без напряжения улавливались и гулы города, зарево огней, прерывистые вспышки электросварок блекло подсвечивали половину неба. Дальний этот гул, зарево и шум машин на шоссе, рокот тракторов были обыденны наравне с недреманным криком коростелей из сырой луговины, петушиным разнобоем по деревенским дворам, предвещавшим скорый рассвет, с хоркающим зовом вальдшнепа, пролетавшего над оврагом.

Из осторожности лисица шла бороздами, использовала островки бурьяна, межи, где бы скрывалась трава. Прыгая с камня на камень, пересекла ручей, и следы ее смыло водой.

Спустя полчаса она очутилась перед дощатым забором. Темнели, уходя в небо

вершинами, старые тополя с шапками грачиных гнезд. Свет фонаря вырывал из потемок кирпичное здание.

Проходы к маслозаводу изучены. Скрипнула доска на ржавом гвозде.

Двор пустынен. Муха не прожужжит.

На животе лисица проползла вдоль забора к крапиве. Обнюхивала рыхлую почву, тычась носом, и вскоре заработала лапами. Из земли извлекся сверток. Опал перекушенный шпагат. С хрустом, словно бы того дожидался, развернулся целлофан.

Торопливые жадные глотки: с полукилограммовым куском масла покончено.

Фонарь горит.

Из дощатой будки храп.

В помойке шорохи...

Мелко-мелко двигались лопатки. Замирая от предвкушения доброй охоты, лисица кралась к выгребной яме.

Несомненно, в помойке крысы.

Люк откинут, свет фонаря проникал в зловонную глубину. Встав на задние лапы, лисица пританцовывала от вожделения. Она положила передние лапы на выбеленный известкой люк, желтые горящие зрочки вспыхнули. А-а, попались?

Но что это? Куцый хвост, висячие уши... В помойке собака!

Спаниель директора маслозавода относился к тем избалованным псам, для кого посетить помойку — мечта пламенная. По уши вывозиться в гнили, в вонючей жиже, налопаться отбросов, а затем дома забраться в гостиную, лечь на диван с сознанием исполненного долга и благоухать на всю квартиру сточной канавой... И будут хозяева ахать, причитать, потащат в ванную под теплый душ, вызовут ветеринара, станут отпаивать куриным бульоном, пичкать слабительным, ублажать и холить... Скажите, чего еще желать псу, прозябающему в квартирной скуке?

Спаниель тявкнул — узкая морда исчезла в проеме люка словно видение. Он выскок из ямы, в восторге залился громким лаем, носясь по двору.

Проснулся сторож. Спросонья из будки полез напролом, застрял в тесной двери.

Скакал игриво вислоухий песик. Куцый хвост крутился пропеллером.

Наконец сторож, хромая, выбрался из будки. Замолотил увесистым костылем по рельсе:

— Караул! Грабют!

У фонаря вились ночные бабочки. Село спало. Зевая, сторож сунул костыль под мышку.

— Добудишься ли кого? Дрыхнут, хоть все понеси.

Спаниель отряхнулся. Брызги зловонной жижи попали сторожу на лицо.

— Ты-и... — заплевался он. — Дам вот, душа из тебя вон!

Спаниель юркнул на крылечко: с таким обращением он был незнаком.

— Работаешь, — ворчал сторож, рассуждая сам с собой. — Не доспишь, не допьешь... А корысть какая? А толк? Тьфу... плюнуть да размазать!

Из крапивы позади будки он вылетел, потрясая целлофановым мешочком и шпагатом:

— Ну, погоди-и!..

Ничего не подозревавший песик от удара костылем покатился с крыльца. И пинал, и бил костылем его сторож: на, на, падло! Ишь, навадился красть!

— Что здесь происходит!

Окрик сзади заставил сторожа сунуть костыль под мышку. Одутловатые щеки посерели. Хромой пятился к будке, оторопело моргал.

— Бдим, начальник, неукоснительно. Масло, ишь, воровал гаденыш. Кажись, пришиб, начальник.

Милиционер был босиком, полосатую пижаму криво перепоясывал ремень с отвисшей кобурой.

— Та-ак. Завлекательный сюжет! Собачонка маслице воровала. В целлофан паковала, шпагатиком вязала... Очень интересная картина! Шишкин? Репин? А может, уголовная статья о хищении собственности? Не пряхь, гражданин, улики!

Шпагат и порванный зубами лисицы замасленный мешочек выпали у сторожа, — моргая, он прислонился к будке, наваливаясь на костыль.

Горланили на тополях потревоженные грачи:

— Кра-а... крак! Крак!

Улизнув со двора проверенной лазейкой, лиса в это время обшаривала тополевою аллею. Ей не впервой. Успела подобрать двух птенцов, выпавших из гнезд: первого тут же съела, второго прихватила про запас.

Коротка ночь в канун лета, короток расцвет. Померкли звезды, а с ними и сполохи электросварок, мерцавшие вдаль над городом.

Лиса то и дело сменяла рысь галопом.

Развиднелось. Пала тишь на поля. Неизбывная, глубокая. Ничто не шелохнет: ни

лист, ни трава. Небо остекленело — мошка тронь крылом, и зазвенит. От такой тиши мертво цепенеют жуки и, разжимая лапки, падают в гущу трав, бабочкам чудится, что вернулась зима, гадюки холодеют и припадают к земле. Венчики цветов тянутся на тонких шейках стеблей, приоткрытые, как рты, истомленные жаждой: пить... пить! Томятся земля и небо в ожидании: а будет ли... свершится ли?

И вдруг небо заалело, зарумянилось. Одинокую тучку тронуло по краям позолотой.

И дрогнула земля, казалось, до недр глубинных, само небо стало ближе, заискрились влажные звезды на траве. Словно вздох облегчения, прошелестел ветер: свершилось! Взошло солнце...

Лиса прибавила прыти. Не по ней солнце, рос сиянье не по ней...

Лениво парил над полями канюк-сарыч, купался в тепле и неге. Неожиданно, без видимой причины, птица замахала крыльями, поднимаясь выше, и заклокотала:

— Кей, кей!

Уклонившись с тропы, матка взобралась на серую копну соломы, брошенную гнить на меже. Не раз копна служила наблюдательным пунктом. С высоты перелесок виделся совсем близким: по мосту через ручей, дальше наискось по лугу — и сосны, тень, укроет прохладный мир.

Собачий лай, раздавшийся оглушительно и внезапно, заставил лису вскинуть голову.

— Гоу! Гоу! — гремело и приближалось.

Шерсть ошетилилась. Выпал из зубов грачонок. Проняло дрожью. Нет врага опасней гончего пса, и он напал на звериный след, отчетливо зеленевший в травах сбитой росой.

Выбор есть всегда, как никогда не бывает безвыходных положений. Еще оставалось времени опередить пса и достичь перелеска. Только увлечи грозного преследователя в захламленный сосняк, на крутые склоны и оползни оврага, в еловую чащобу, как он лишится преимуществ — в скорости бега, в силе. Гибкая и тонкая, лиса проточилась бы в такие лазы, куда громоздкой собаке путь заказан.

Опрометью матка скатилась с копны. Выбор сделан. Какая же мать, спасая шкуру, приведет беду на порог родного дома?

Струной вытягивала хвост, струной вытягивалась матка. Бежала. Своим следом. Навстречу собаке. Вперед — и навстречу. Вытягивалась стрункой, вжималась в сырые



травы, и звенела напряженно струна: пора... пора...

Пора!

Прыжок с разбегу в канаву. Второй, третий — уже на канаве.

Пес непременно теперь проскочит к копне. Будет рыскать, пока по запаху распутает следы, и той порой лиса прибежит к новой уловке.

Канавы скрывала с головой. А выдали матку уши. Настороженно поднятые, мелькавшие над травой уши.

Вместо того, чтобы гнать зверя по следу, пес кинулся напрямую, не разбирая ни кустов, ни канав.

В галопе стлалась лиса.

Да ей ли, кормящей матери, пробавлявшейся впроголодь последние недели, тягаться с гончаком?

Вот-вот он доймает, схватит добычу поперек хребта, хрустнут кости, освежится рот горячей кровью.

Прыжок лисы вбок — пес, нацелясь в темную полосу хребта, промахнулся.

Вновь настиг. И опять уклонилась лиса, хвост ее презрительно мазнул гончака по носу. Казалось, нарочно, в издевку сунула ему хвост — на... на! И сама скользнула в сторону.

— Гам! Гам, — красно-пегий кобель в бешенстве подавился собственным лаем.

Между тем лиса берегла не так себя самое, как хвост. От обильной росы хвост намокал. Пышный, легкий, он тяжелел. Цеплялся, волокся

по траве. Напитывался влагой, тянул назад, как гиря. Хвост и грозил ей гибелью прежде всего.

Но как появился в полях гончак, породистый пес да и без надзора? Ведь нет охоты, когда птица на гнездах, звери в логовах!

А, он отверженный, он из города...

Рос город, ширился — недаром же по ночам полыхает небо вспышками электросварок! Утлые домики окраин, бараки смегаются бульдозерами, и где был лужок, куры в мусоре копались — асфальт теперь,

песочницы под фанерными грибами. Тесня луга и пашни, тут и там возникают заводские корпуса, дымные трубы.

С весны до зимы прибавляется за городом бездомных псов. Тузикам и трезорам, караулившим, бывало, скрипучие калитки, наверное, не находится угла в новых домах. Нарядных и таких огромных домах, куда переселяются люди...

Стонет в полях, рыдает:

— Гоу-гоу!

Рыжее среди росной зелени, серых теней бегучее мельканье заворачивало и распахало.

Вывален язык. Неутомимо работают, как рычаги, мощные лапы пса, толчками посылая крепко сбитое тело — вперед... вперед... Через канавы, по вязкой пахоте; через кусты и на штыки сучьев, по лужам и прогалинам.

Убегая, в струну вытягиваясь, ускользала матка. Заводила в колючий шиповник, в частую поросль на межах, кружила по топкой сыри и вырубкам — безуспешно, преследователь не отставал.

Изгородь... Слева высокая плотная изгородь, справа теснит гончак!

Кровоточат разбитые лапы. Роса подсыхает, об острую траву изранены соски.

Чужой... Он чужой, он не из полей!

Матка знала по опыту прошлых лет, что деревенские дворняги, и напав на след лисы, не гоняют ее, если она кормящая мать.

А этот?

Жмет, настигает, и высока, плотна изгородь, и не жди пощады...

Высока, плотна изгородь, а нашлась лазейка — с ходу скользнула матка в щель и припустила к кустам.

Умолк гончак, скулил, царапал когтями жердины. Когда он перелез изгородь, лиса уже скрылась. Прыжками кинулся ее догонять, от злобы горло перехватило.

Река. Коровы разбрелись по берегу.

Заводи спят солнцем. Пастух, высвободив ноги из стремян, клюет носом в седле, лошадь под ним хлещет хвостом, отгоняя мух. В тени куста клубочком свернулась собачка, жмурится на коров, зашедших в воду.

— Гоу! Гоу! — увидел гончак лису.

Из последних сил матка рванулась к реке. Проскочила у лошади под животом — лошадь взвилась на дыбы. Не успел еще пастух вылететь из седла, собака только пасть раззявила, чтобы залиться лаем, а матка по спинам коров, в воде дремно жевавших жвачку, очутилась на противоположном берегу.

Конское ржанье, крик — лошадь волочила выбитого из седла пастуха, уцепившегося за повод.

Мычат коровы, выскакивают на берег.

Лай, грызня — сцепились псы.

Гончак знал толк в драках: собачонка пастуха, визжа, покатила в траву с прокушенным плечом.

Алька гмыкал, хохотал, взявшись за бока: «Ну дают... Ну и свистят!» Ни капли не верил.

Однако смилостивился, глядя на грустные рожицы, и сказал:

— Гоните пачку «Беломора», так и быть. Где наша не пропадала?

Он пошвырял в ведро с керосином железки от разобранного мотора, которые перемывал и протирал ветошью. Отец его попросил, уезжая на центральную усадьбу за запчастью, чтобы Аллька хоть чем-нибудь занялся.

— Чего, Аля?

— Чего? — запищали братцы комариными голосками.

— Чего, чего, — буркнул Аллька. — Чиви с маслом! Прогуляемся до вашей там берлоги...

— Вместе пойдем?

Робко переминались братцы.

Алька не удостоил ответом. Повалился на травку, задрал длинные ноги. Сопя и кряхтя, встал на голову.

— Система йогов. Для прибавки ума. Учитесь, пока я жив.

Фасонит. Так Аллька же... От Алльки вся школа горько плакала. Когда его исключили, то была у учителей складчина, будто на большой праздник. Да что учителя, если с Аллькой и совхозное руководство считается, как ни с кем другим: «Альберт, мы тебя попросим...» «Не можешь ли, Альберт, поработать до конца смены?» А он — руки в брюки, папирочка в зубах: «По закону не положено мне больше четырех часов вкалывать!» Он себя поставил, попробуйте с ним не посчитаться. Несовершеннолетний, и о нем надо проявлять заботу.

Сбегали близнецы домой и вскоре вернулись обратно. Глаза опустили.

— Ну? — Аллька развалился у трактора, кепочка сдвинута на нос.

Одинаковые майки. Синие трусы с помочами. Светлые чубчики.

Одинаковые розовые носы. Уныло поникали розовые носы...

— Нет «Беломора», Алик.

— Мы вспомнили: папа курит в будни «Звездочку», на праздниках — «Казбек».

— Ну-у?— повторил Алька.

Олег робко подал из-за спины пачку папирос:

— «Казбек». Ты посмотри, Аля: в коробочке.

Закурив, Алька дым задерживал и с ленцой выпускал через оттопыренную губу. Водил бровями, глаза закатывал, будто прислушивался к чему-то внутри себя, и сердчишки близнецов екали.

Но Алька встал. Вышагивал он на длинных ногах-ходулях, как циркулем дорогу мерил. Спинывал с тропки засохшие комья грязи.

Вприпрыжку попевали за ним близнецы. К лисьей норе идут... И Алька с ними! Алька на голову папы выше, и уж самостоятельный-то и курит почем зря и никого не боится. С ним водиться — вовек не пропадешь.

До перелеска-то — рукой подать. Ну да, его из окна видно. Неужто вчера этот никудышный лесок, сосны-замухрышки представлялись им дебрями, где до них никто не бывал?

Пни. Лысины старых кострищ. Груды сучьев, вершинника.

В сосняке ведь заготавливают дрова...

И, наверное, никакой норы нет, приснилась им. Это бывает: принимаешь за правду свою же выдумку.

— Ей-бо, пицчат!— заорал Алька, сплывшись к ручью.

— Ура!— подхватили двойняшки. Смотрели на Альку влюбленно и преданно, словно на их глазах он сотворил чудо, их выдумку обернул явью.

Алька насупился. Он размышлял. И близнецы насупили бровки.

Алька обрадованно хлопнул себя по лбу ладонью: эх я, голова и два уха! И братцы просияли. Эх и голова у Альки, эх и два уха!

— По лисенку на рыло... Идет?— мальчики на его предложение только завизжали, и Алька распорядился:— Волочи сучья. Постараемся, братцы!

Старались братцы. Алик старался: валежину такую припер, что мужику не поднять.

Костер вспыхнул. Белый душный чад, пошатываясь, то принимал к земле, то клубился, уходя в рыжие лохмы сосен.

В норе громче заскулили, писк лисят был тонок, пронзительно жалобен.

— Следи!— метался Алька, плечи его

дергались.— В норе есть запасные выходы. Счас ползут, лисят тут до дуры, хватай лютого.

Вчера Алька «попух», как он выражался. У клуба под радиолу на пяточке шаркать — чего хорошего? Да и кто из девчонок пойдет с Алькой танцевать? Слоняться неприкаянно тоже тошно. Парни послали за вином — смотался. Ну поднесли стопку. Ну еще в карты дулись. За проигрыши под стол лазил, козлом блеял... Ничего, он поправит авторитет! Принесет лисенка за пазухой и выпустит на пяточке — во пойдет тарарам, во переполох. На год разговоров хватит.

Алька подгрел к входу в нору угольев. Лисята не ползли, он озлился, запихал в нору валежину. Игорь ему помогал, оба возились в головнях, в пепле.

Олег наблюдал за ними с откоса, исподтишка поглядывая на щелочку, которую он давно для себя приметил: один да лисенок к нему вылезет. Ковырял Олег босой пяткой в песке, пускал его струйкой вниз.

Нора смолкла. Костер трещал, дым потек из всех отдушин.

— А вам попадет,— сказал Олег.— Нору разорили... Ага-а? Лисята подошли. Ага-а?

В сердцах Алька пнул по головешке: она отлетела в ручей и зашипела злорадно: ага-а, попадет!

— А ты... ты...— у Игоря горло перехватило.— Ты тоже, Олег. Тоже! Тоже!

— Не тоже,— Олег подмигнул, ухмыляясь.— Не тоже, Игорюха-горюха. Не тоже. Это одни вы... вы! Вы!

Алька даже растерялся. Открыл рот. Потом утер локтем под носом, задышал тяжело.

— Ну гад, ну гад!

— Бабушка!— завопил Олег.— Бабушка, Алька дерется!

Пока Алька взбирался, срываясь по откосу, Олег успел удрать.

Игорь будто омертвел. Пришло запоздалое прозрение. Что он наделал? Всему конец. Всему-всему. Он хотел как лучше. Он бы подружился со своим лисенком. Кормил котлетами, молоком поил. А может, и домой не взял. Погладил по шерстке и отпустил, раз в норе лисят больше нравится. Он бы... Ну да, подружился со всеми лисятами. Через них и с белкой. Чтобы в перелесок ходить, и никто его не боялся.

Конец! Не бывать дружбе!

— Папиросы возьми,— говорил Алька.— Продаст тебя братец, как пить дать.

— Не,— мотал Игорь головой.— Не-е-т,

— Дай руку, пособию вылезти.

— Не, я сам... не-е.

Ничему больше не бывать: клубами из подземелья, из отдушин дым. Горький, тяжелый смрад.

Не бывать... Никто больше не придет в перелесок. Дрова рубить, за ягодами, по грибы — это, пожалуйста, куда ни шло. А послушать, как лес дышит, у сойки в зеркальце посмотреться, поиграть с белкой в догонялки — никто. Никто больше.

Тяжелый гул возник где-то за чертой горизонта — в жарком мареве, в лазурном сиянии неба. Возник, накатил, заглушая и подавляя звуки полей: журчанье жаворонков, болтливый певучий говорок пичуг, и плеск листьев, и шорохи трав.

С железным шелестом тянул самолет, влача розово-серое облако: коснувшись зелени озимей, оно клубилось, превращая светлый день в серые сумерки. Напахнуло едким и соленным от облака, рев мотора стал ощутимо плотным, и гончак поперхнулся, осел на задние лапы, и лисица как споткнулась, вжалась в борозду.

Облако накрыло их — удушливое, пыльное.

Дышать... нечем дышать!

Ест глаза и жжет...

К счастью, рядом была лужа.

Смыть с шерсти едкую пыль, окунуть морду в воду, умерить боль, раздражающую ноздри. Глоток... хоть бы глоток чистого воздуха.

Они очутились в воде почти одновременно. Скулили одинаково. Одинаково плескались, подымая со дна муть и тину.

Первым пришел в себя гончак. Саднило в ноздрях, щипало глаза, пыль еще оседала — у красно-пегого кобеля темные брылы раздвинулись, сверкнули клыки. «Р-р», — хрипло, утробно вырвалось из горла.

Они стояли друг против друга — непримиримые враги, разделенные только лужей, оба мокрые, в жалко слипшейся шерсти, оба изнуренные гоном.

Первой выбралась из лужи матка.



За ней скачками, на ходу отряхивая с шерсти воду и грязь, устремился гончак.

Самолет, рассеивавший с воздуха удобрения, пошел над озимью по второму заходу, тащил за собой облако. Уклоняясь от летучего облака, лиса забирала в сторону, и опять настигало, подхлестывало ее, как бичом:

— Гоу! Гоу!

Она ошиблась: ее враг не был бездомным бродягой.

По приезде в деревню на дачу хозяин почему-то облачился в офицерский мундир, хотя дома, с тех пор, как вышел на пенсию, обходился пижамой, к тому же давно не был военным. Мундир резал под мышками, тесный ворот собирал на затылке тучные складки, хозяин сопел и багровел.

Визиты в дирекцию совхоза. «Позвольте представиться: майор в отставке. Прошу на чаек. Э-э... по-холостяцки у нас, попросту, знаете...» Затем к директору маслозавода, в сельсовет: «Почту за честь...» Хозяин сопел одышливо, пахло от мундира нафталином и от сапог ваксой. Обряд визита неизменно завершался одним и тем же: пса трепали по загривку, восхищались редкостным окрасом, статью, щупали лапы, хозяин раскрывал ему пасть: «Чистых кровей костромич. С родословной... э-э, черт его знает до которого колена!» На парадном ошейнике сияли начищенные жетоны и медали собачьих выставок...

Поначалу хозяин отпускал гончака днем:

— Порастряси комнатный жирок, освойся с обстановкой.

Так как красно-пегий костромич был предан хозяину, летел домой сломя голову на зов медного рога, то в поощрение отлучки учащались и удлинялись.

Упоительна свобода! После четырех стен городской квартиры — поля и луга, мягкая зелень трав, вольная воля широкого раздолья... Рыскал красно-пегий гончак. Забегая в деревни, давил кур, на их горе опрометчиво вышедших за околицу. Давил и диких насекомых на гнездах.

Воля! Свобода!

А взятого на гону русака он в зубах доставил домой — пронес по улице, на виду у всех. Посмели бы ему дворовые шавки преградить дорогу... Ух, коротка была бы расправа! Женщины у магазина возмущались: что за безобразие — куда милиция смотрит? Шофер притормозил, выпрыгнул из кабины и погнался с гаечным ключом в руке. Гончак положил русака и так ощеринился, скаля зубы, что шофер отпрянул:

— Волк... Настоящий волк!

Дома хозяин накинулся с арапником, топал на пса и грозился:

— Ах ты, изверг, как посмел? Кто тебя научил?

Чем больше скапливалось народу к избе, тем сильнее он бушевал:

— Оporочил... Удавлю охламона!

Потом, когда они остались одни, сменил гнев на милость. Тискал морду пса в коленях, заискивая, шептал тенорком:

— Русака взял? Прекрасно... Отличная форма! Ты мне титул доставь... да... золото! Будешь чемпионом? Будешь? Иначе какого ж дьявола мы в этой дыре торчим, умница ты моя!

Гончака хозяин стал отпускать по ночам:

— Ступай... Но чтоб у меня без вольностей!..

Гремит и рыдает в полях: гоу! гоу!

Несся костромич. Зелень трав, нежных озимей сливалась во что-то смутное, смешанное с голубым и жарким. Колыхалось мерно голубое и зеленое: вверх — вниз... вверх — вниз. Опалял ноздри зовущий запах зверя, струился рыжий мех, ускользая вперед, все вперед — от реки гон переместился снова в поля и луга.

— Гоу! Гоу!

Попалась под лисьи лапы тропка. Под разбитые в кровь лапы. Вытягивалась матка струной, дыша часто и запаленно.

На камнях пригрелась ящерица. Жемчужно отливала ее поднятая головка. На камни, прямо на камни, собранные в груды с пахоты, неслась матка, не замечая, что тропка у камней делает крутой поворот.

Следом несся гончак: «Гы... гы», — хрипло kloкотало в горле. Он потерял голос. Охотничий азарт гнал пса на камни, гнал за белым пушком хвоста, за рыжим мельканьем, заслонившим ему целый свет.

Внезапно пятнышко исчезло — лисица, помогая себе хвостом, как рулем, круто, на всем маху юркнула вбок по тропе. Повернула резко, с тропы ее кинуло в бурьян.

А костромич не смог. Ему нечем подрулить. Гол и короток хвост. Разсгнавшись в беге, врезался в камни, его швырнуло через груды, раза два или три перевернув в воздухе.

— А-а... — шемящий визг, хрипы.

Продравшись сквозь бурьян, лисица проскакала метров сто во весь опор и свалилась. Ноги не держали.

Встала с усилием. Шатаясь, побрела шагом. Лапы заплетались.

Никто не преследовал больше.

Гон, смертный гон завел матку далеко-далеко. Брела она час и другой под палящим солнцем.

Тень кустов благодатна и желанна, но matka проскальзывала ее сноровисто, сколь хватало изнуренных сил, зато ползком, вжимаясь в траву, точилась через залитые зноем прогалины. От духоты стонленных жарой трав, терпкого их запаха першило в горле, воспаленный язык царапал рот, чудилось, что колючие лучи прожигают ее насквозь, стала она сухой и легкой.

Так одолела она, идя своим следом, едва ли не половину гона и, выбрав бурьян погуще, прыгнула в него.

Покружив в бурьяне, matka спустилась в низину. Трусила рысцей по гнилым лужам, скользким валежинам. Колючки шиповника царапали, выдирали клочья шерсти. Иногда лисица оступалась в грязь.

Новый прыжок в сторону. Еще петли, скидки...

Высоко в небе канюк-сарыч плавал, распахнув неподвижные крылья:

— Кэ-эй? Кэ-эй?

Что делает лиса средь бела дня?

Волочится хвост, заплетаются лапы, и слезы из воспаленных глаз, в голове звон, и слиплась от грязи шерсть, сковывает движения, каждый шаг дается с болью и натугой...

К ручью она вышла ополдень.

Синел в дымке марева сосновый перелесок.

И близко, и путь к норе отрезан: оба берега речки кишели народом.

В лакированных боках «волг», «москвичей» отражалось солнце. Ходили, лежали на траве полуголые люди. Кто загорал, кто играл в волейбол. Пестрота. Гомон. Удары по мячу. И детский смех, и говор, и музыка.

Matka проточилась в одинокий куст черемухи. Боль, усталость навалились. Уронила голову на лапы. Комар присосался, муха села на ресницу — неподвижные, застывшие зрачки матки были устремлены в перелесок, такой близкий и такой недостижимый.

Подъезжали к луговине машины, высаживали новых и новых людей, но там, где был город, по-прежнему трубы коптили небо, по-прежнему перекликались поезда, ухало и гремело, по-прежнему по шоссе неостановочно шли машины, рычали в полях тракторы.

С тем же остановившимся взглядом лисица поползла.

Ее заметили на полпути к мосту.

— Лиса!

— Смотрите... смотрите!

— Лиса-а!

Надо бежать. Надо метаться по полям, закладывать новые круги, выписывать новые петли израненными, онемевшими лапами — затаивать свой след к своей звериной норе...

Ночь спустилась.

Жук жужжал. Топал еж. Кричал коростель.

Выступила роса.

Она светлая. Она легкая. Запах росы свеж и прозрачен.

Matka, обезумев, сновала у норы, вытаскивала лисят наружу или уносила обратно, ложилась с ними, крепко-крепко прижимала к теплому боку, грела дыханием, вылизывала жадно, иступленно.

Лишь то живо на земле, что дает и бережет жизнь. Жить, лишь давая жизнь, — нет крепче закона, и следует ему даже безымянная былинка, коль осыпает семя наземь.

Крепко-крепко прижимала matka лисят, тормошила, вылизывала жадно, и ничто не помогло — пушистые комочки пахли мертвым дымом, были холодны.

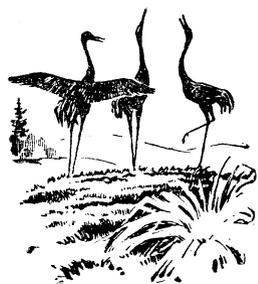
Лисица завывала. Горек был жалобный стон из подземелья, жуток и горек, обращенный к мохнатым теням сосен, к луне, и ручью, беспечно, в холодном равнодушии плескавшем жидкую струю по камням.





СРЕДИ ВЯТСКИХ УВАЛОВ

ВЯТСКИЕ УВАЛЫ



Впервые о Вятских увалах я услышал в школе, на уроке географии. Тогда же узнал, что на карте Советского Союза они занимают немного места. Но Белохолуницкий район Кировской области весь пересечен этими невысокими пологими горами.

...Я без усталости могу взбираться на них. Чтобы раньше других видеть восход солнца, отражение его на перекатах извилистой Вятки. Чтобы любоваться перелесками, среди которых раскиданы десятки деревушек, больших и маленьких. Чтобы подолгу слушать бормотанье косача, вдыхать запах цветущего клевера, провожать в дальний путь караваны журавлей, смотреть на белизну полей.

НАЧАЛО СБОРА

Еще в августе я заметил, как в Загоровом Залеманье — так называют в деревне одно из полей — каждый вечер кричат журавли. Их поначалу было всего три. Они пролетали над деревней и садились в поле.

Вскоре к тем трем присоединились еще два. Почему только два? Не удалось вывести птенца? Или он погиб? Кто знает... Не потому ли эти два журавля первыми начали создавать стаю?

Через некоторое время я увидел уже девять журавлей. Значит, начался сбор птиц перед отлетом. Скоро последний раз поднимутся они над деревней и будут долго кружиться, прощаясь.

А пока они каждый вечер призывно кричат в Загоровом Залеманье, и я выхожу их слушать, и на душе тревожно.

ВОРОБЬИ ПИВО ВАРЯТ

После жаркого лета начались пасмурные дни. Временами бусит дождик. В деревне тишина.

Только на большой черемухе громко чирикают воробьи. И чего они кричат?

В деревне это объясняют так: «Воробьи пиво варят». А на самом деле — они тоже сбиваются в стаи: вместе легче зимовать.

ЛЕСНОЙ УГОР

Он выделяется среди других холмов круглой формой и высотой. Рассказывают, что раньше, когда он не был еще так лесист и покрывали его только кусты вереса, собиралась на нем молодежь с гармошкой — плясали, пели, играли. Люди в окружающих его деревнях говорили: «На лесном угоре вечорка».

Сейчас я беру на нем грибы — рыжики, маслята, грузди, подосиновики. И сквозь деревья не видно неба...

Выйдя на южный склон, к которому примыкает ржаное поле, уставленное скирдами соломы, я сажусь отдохнуть. Среди рыже-бурых осин, растущих по краям угора, замечаю черемуху. Она еще вчера была зеленой, а сегодня уже бледно-малиново-желтая...

Близится осень.



СОПЕРНИЦА

Этот гриб я увидел еще издали: большой, весь на виду, шляпа — как сомбреро мексиканца. Я пошел было к нему, да на пути попались боровики. Пока их собирал — глядь, а того красавца уже нет. Куда он запропастился? Подхожу к тому месту и вижу — один корешок стоит. А ведь будто никого поблизости не было... «Эй, кто здесь?» Никого. Никто не отвечает... Иду дальше, мимо сосен.

«Цок-цок-цок» — послышалось с дерева. Я даже вздрогнул от неожиданности.

Белка сидела на суку сосны и держала в передних лапках ту самую шляпку гриба, которую я видел издали. Так вот кто, оказывается, опередил меня!

Я выбрал из корзины самый большой белый гриб и повесил его на нижний сучок сосны. Белка процокала снова, и я понял ее так: «Спасибо, спасибо!»



НА ОСОБИЦУ

Идет по земле осень.

Роняют деревья листья. Чуть ветерок — они сыплются и сыплются. Их уже много и под молодой черемухой, и под большим кустом смородины, и под высокой осинкой, и под могучим тополем... Пылает красным огнем рябина, позолочены березки, радует глаз разноцветный ясень... А вот сирень даже и не думает ни краснеть, ни рыжеть, ни желтеть, не думает и освобождаться от листьев. Они у нее все еще темно-зеленые, твердые, с первыми лучами солнца быстро обсыхают и не очень-то трепещут на ветру.

Стоит сирень среди разноцветных деревьев, зеленая, как будто ее не касается, что на дворе — осень. И только когда тронут ее октябрьские морозцы, она начнет сбрасывать листья — все такие же зеленые и упругие.



ЗАЯЧЬИ ЯГОДЫ



Их можно заметить только в нескольких шагах от себя. Алые бисеринки-ягодки с мышиный глазок величиною — собрались в кучку на одном толстом стебельке, каждая на своей веточке. А под ними, у самой земли, — два-три сердцевидных листочка. На вкус ягодки — как переспелая брусника: чуть-чуть горьковатые, сладкие. Они очень нежные, брать их надо осторожно, иначе алый сок выкрасит пальцы.

В деревне их все — и взрослые, и дети — называют почему-то «заячьими ягодами». Вообще же это — майник.

ЗВОН БЕРЕЗЫ

Всю ночь моросил дождь. Шелестел по стеклам окон, как будто просился погреться.

А к утру подморозило. Деревья покрылись тонкой корочкой льда, словно прозрачной эмалью. Когда подул ветерок, висячие ветви плакучей березы, касаясь друг друга, зазвенели, как хрустальные.

Целое утро был слышен этот тонкий музыкальный звон.



СЕВЕРНЫЙ ГРАНАТ

Так кто-то однажды назвал костянику. Крупные, красные, спелые ягоды, они так и манят к себе. Уже, кажется, оскомины на зубах и есть больше не хочется, а рука сама тянется к ним. Отпотевшие, как будто только что их достали из холодильника, ягоды сами просятся в рот, и снова наклоняешься и наклоняешься...

Несравненный наш северный гранат... Чем он уступает настоящему, южному?



ЖИВЫЕ ЛИСТЬЯ

Эта береза, стоявшая на краю перелеска, выделялась среди других тем, что еще сохранила листья. Правда, время от времени листочки все-таки срывались с веток и быстро падали на снег. «Что это за береза такая?» — подумал я и направился к странной березе.

Еще более удивился, когда увидел, как листочки со снега стали подниматься вверх, на березу. «Так ведь это птицы!» — наконец догадался я.

Чететки подпустили меня совсем близко. Они будто не

замечали человека и продолжали заниматься своим делом, перепархивая с ветки на ветку, порой свисая вниз головой.

Я обошел дерево стороной и долго оглядывался на перелесок

ЗАПАХ ЛЕТА

По выбитой в снегу проселочной дороге только что прошел трактор с сеном. Местами воз задевал ветви деревьев, и клочки сена оставались на них. Я взял один из них. На меня глянул из пучка желтый лютик, будто удивился: как я попал сюда в зиму? А в листочках манжетки, ежась от холода, спрятался белый клевер. Ну-ка, чем он сейчас пахнет?..

Высохшие травинки пахли лугом, грозой, солнцем... Только зимой так остро ощущается аромат лета.



ПЕРЕПРАВА

Это было в самый разгар лета. После длительных, обложных дождей кольская тундра, как губка, до отказа насытилась водой. Дороги расплзлись и стали совсем непроезжими.

По каменистым берегам северной речки мы возвращались домой. На скалистом бугорке присели отдохнуть. Непредвиденный в летнее время разлив реки — стихийное бедствие для обитателей лесотундры. Предчувствуя беду, вокруг суетливо шмыгали лесные мыши, покидая затопленные гнезда; затаенные в бушующий водоворот, подняв кверху остроносые усатые мордочки, стремились выбраться из неприятной купели лемминги.

Вдруг на взгорке — островке у кряжистой сосны — появился рыжевато-бурый, с белым брюшком горноста́й — гроза мышей и полевок. Но не охотиться вышел он в этот тревожный час. Зверек сделал стойку, потом стрелой метнулся по островку и снова замер столбиком. Горноста́й вот-вот мог оказаться отрезанным водой. Единственным выходом оставалась узкая полоска суши. Но почему он медлит?

Внезапно зверек исчез под землей и тотчас вынырнул из норы с... горноста́йчиком. Держа детеныша за загривок, смелый родитель побежал к сосне. Приостановившись у комля, он стрелой взлетел по вертикальному стволу дерева до зарубки, где был

прикреплен трос, натянутый когда-то геологами для транспортировки оборудования через водный рубеж.

Мы смотрели и не могли поверить своим глазам. Горноста́й побежал по канату. Достигнув противоположного берега, он скрылся в зарослях хвойника. Потом вернулся и повторил тот же маневр со вторым малышом.

Тощий, линялый зверек был целиком поглощен заботой о спасении своего потомства. Он то и дело курсировал по натянутой, как струна, воздушной переправе, перетаскивая третьего, четвертого, пятого, и прятал их на взгорье в густом мелком ельнике.

Вот это молодец! Ведь проявил смекалку хитрюга, додумался использовать воздушную линию на свой лад. Нужда заставит шевелить мозгами!

Волны уже грозили затопить норку, когда самоотверженный спасатель сделал последний, шестой по счету, рейс. На середине стального троса, повиснув над кипящим омутом, горноста́й перехватил поудобнее детеныша, обернулся в сторону покинутого дома и, увидев, как вода захлестнула его, резко застрекотал и метнулся на противоположный берег.

Н. ЗАЙЦЕВ

В архиве свердловского фотокорреспондента И. Н. Тюфякова есть снимки, представляющие немалый интерес для большинства читателей нашего журнала. То, что запечатлено на этих фотографиях, нынешние подростки попросту никогда не могли видеть сами, так как родились гораздо позже.

Некоторые из этих фотодокументов перед вами. Вглядитесь в непривычные для наших дней контуры самолетов. Эта фотография была сделана в мае 1938 года. Самолеты арктической авиации, делавшие первые полеты к полюсу, летавшие на выручку к затертым во льдах пароходам, на несколько часов приземлились в Свердловском аэропорту. Здесь и сфотографировал их И. Тюфяков.



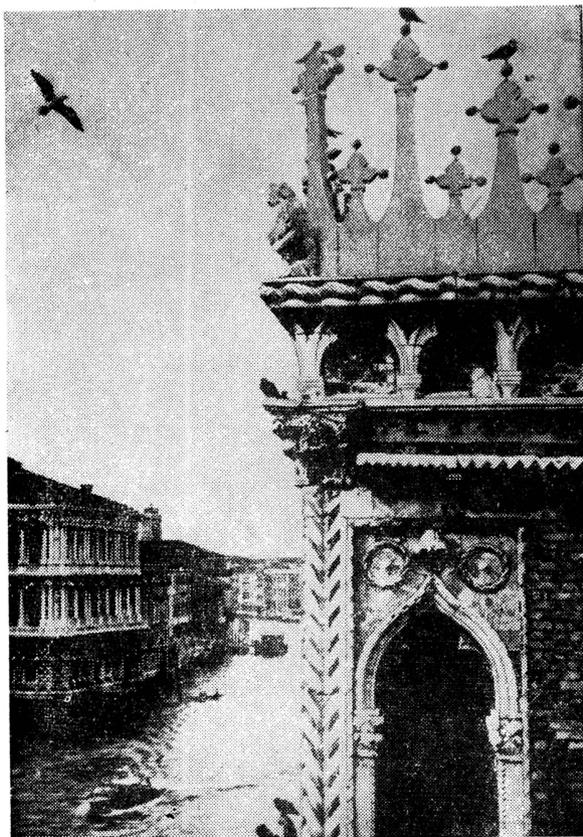
Известного уральского писателя Павла Петровича Бажова он заснял на прогулке в окрестностях города в марте 1950 года.

Третий снимок сделан на центральной площади Свердловска несколькими месяцами раньше. Октябрьский парад войск принимает прославленный советский маршал Г. К. Жуков.





УРАЛ- ВЕНЕЦИЯ



Большой канал в Венеции

«Венеция в опасности!», «Спасти и сохранить Венецию!» — эти тревожные призывы не сходят со страниц мировой печати.

Один из красивейших городов мира, где буквально каждый камень «историей дышит», город-музей, в котором 450 дворцов и 200 церквей — подлинных шедевров архитектуры, в котором собрано более 16 тысяч бесценных произведений живописи и скульптуры, — этот город гибнет.

Главный враг Венеции — вода. Она разрушает кирпичи и мрамор.

Мировой океан наступает на сушу. Но на побережье Адриатического моря этот процесс особенно заметен. Здесь вдобавок медленно и неукротимо оседает также дно лагуны. Ученые подсчитали: море наступает на Венецию со скоростью 11 миллиметров в десятилетие.

И вода все чаще и чаще приходит как непрощенная гостья в город. За последние десять лет Венеция принимала соленые морские ванны 30 раз! На целый метр поднимается вода над улицами. А бывают и более мощные наводнения, такие, например, какое случилось в ноябре 1966 года, когда вода, перемешанная с нефтью и нечистотами, подперла вторые этажи зданий — поднялась на два метра!

Казалось бы, Венецию подстерегает и другая опасность — могли подгнить 400 000 свай, на которых покоятся дворцы, соборы и особняки — все здания этого самого мокрого, может быть, города мира. Ведь они деревянные и стоят в течение веков в соленой морской воде. Однако сваям ничего не делается. Их неоднократно проверяли: крепкие еще, даже вроде крепче стали, чем были 400—500 лет назад, — окаменели как бы, пила их не берет и топор от них отскакивает...

Эти лиственничные чудо-сваи — уральские, из пермских карагаев.

Мы знаем, что когда строился Петербург, сваи для его зданий привозили из Прикамья. На пермских карагаях держится знаменитая одесская лестница. Из уральских лиственниц сделаны стропила и перекрытия кремлевских соборов, храма Василия Блаженного, оконные рамы Зимнего дворца. Пермская лиственница в течение многих веков считалась лучшим материалом для строительства кораблей и вывозилась в Англию, Францию, Италию.

Двести лет назад была издана двенадцатитомная история Венеции. В ней говорится:

«...Благополучие населения Венеции обеспечивается всемирной торговлей и прочностью свайных сооружений города на островах — пермскими карагаями».

Когда-то от Печоры до Алтая и вдоль всего Урала росли эти «деревья вечности» — пермские карагаи. Сейчас их почти не осталось, но слава о них жива, и сами они еще служат людям...

И еще одна нить, тоже прочная, связывает Урал и Венецию.

Когда был брошен клич «Спасите Венецию!», когда правительство Италии обратилось к ЮНЕСКО (международной организации по вопросам образования, науки и культуры при Организации Объединенных Наций) с просьбой глубоко изучить все проблемы города на сваях, откликнулись и уральцы.

«Уважаемый господин генеральный директор, господа члены исполнительного совета!

В последнее время в широкой печати все чаще встречается утверждение, что главной причиной оседания Венеции является извлечение вод из недр Венецианско-Паданской низменности. Однако мы считаем, что ни ликвидация скважин, ни даже нагнетание воды в подземные пласты не решат полностью проблемы спасения Венеции.

Проведенный нами анализ геологического строения Апеннин показывает, что погружение Венецианско-Паданской низменности — результат тектонического процесса.

Все gridцать три тысячи землетрясений, описанные в Италии начиная со средних веков, разрушительные наводнения и другие стихийные бедствия вызваны непрерывающимися и в наше время движением Апеннин на северо-восток и погружением северной части Италии под тяжестью этого надвига. В подтверждение такого вывода можно привести много фактов. В плоскости разлома фиксируются гипоцентры землетрясений. Интенсивный размыв Апеннин не прекращается. Русло реки По отодвигается на север. В пользу этого вывода говорит и характерная направленность неотектонических движений на территории Италии.

Угроза подобного, пока еще не управляемого человеком, векового тектонического процесса может быть нейтрализована только строительством дамб, отгораживающих Венецию от Адриатического моря, и искусственным снижением уровня воды в Венецианской лагуне на 1,5—1,8 метра.

Надеемся, что ЮНЕСКО согласится взять на себя инициативу проведения специального исследования тектоники Апеннин в соответствии с нашими предложениями, а затем будет способствовать осуществлению строительства защитных дамб Венеции.

С уважением, Л. и В. Баньковские».

«Господа!

От имени генерального директора ЮНЕСКО сообщая о получении письма, которое пришло от Вас в его адрес.

Научные сведения, которые Вы нам прислали, очень интересны, но ЮНЕСКО не может никоим образом взять на себя инициативу ни специального изучения тектоники Апеннин, ни содействия в организации строительства дамб.

Однако ввиду того, что сведения, которые Вы прислали, могут быть интересны для итальянского государственного комитета, изучающего мероприятия по спасению Венеции, я передал Ваше письмо нашей канцелярии в Риме.

Благодарю Вас за интерес, проявленный Вами к проблемам, разрабатываемым ЮНЕСКО, и за научные сведения, которые Вы нам сообщили.

А. Вриони, специальный ассистент генерального директора ЮНЕСКО».



Венеция, площадь Св. Марка, затопленная водой

«Господа!

В связи с письмом, которое Вы адресовали генеральному директору ЮНЕСКО, и согласно указаниям, о которых я сообщил Вам, служащие нашей римской канцелярии обратились в компетентные итальянские научные учреждения с Вашими замечаниями. Я с удовольствием сообщаю Вам, что всестороннее изучение верхней мантии земли на Итальянском полуострове начнется совсем скоро Лабораторией по изучению динамики горных масс, созданной для разрешения проблем Венеции.

Направление исследований этой лаборатории совпадает с Вашими замечаниями по тектонике Апеннин, и поэтому Вам желательно, как только возможно, войти в прямой контакт с директором лаборатории доктором Роберто Фразетто и обменяться с ним научными сведениями.

Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы нашли возможность сообщить мне о Вашем мнении по этому поводу.

А. Вриони, директор отдела по спасению культурных ценностей ЮНЕСКО».

«Глубокоуважаемый г-н Вриони!

Проведенный нами анализ геологического строения и развития Японских островов, Индостанского полуострова показывает, что в этих местах земного шара погружение в океан прибрежных городов имеет геотектоническую причину. Поэтому, нам думается, проблема защиты Венеции выходит за рамки общеевропейского научного сотрудничества и требует совместной работы ученых разных континентов.

Наше мнение о решении этой насущной проблемы изложено в прилагаемой статье «Социология и науки о Земле». Посылаем также статьи, в которых

обращаем Ваше внимание на то, что затопление Венеции, Токио, Бомбея, Мадраса носит один и тот же тектонический характер.

Согласно совету д-ра Фразетто мы направляем в Болонью проф. Капуто предложение обсудить найденный нами конкретный механизм регионального тектонического надвига на территории Италии.

С уважением, Л. и В. Баньковские».

В 1969 и 1970 годах в пермских газетах были опубликованы статьи «Умирающая Венеция», «Город у моря», «Земля «без плаща и птицы», «Луна и Венеция», так или иначе посвященные проблемам спасения Венеции. Авторы их — научные обозреватели газеты «Вечерняя Пермь» отец и сын Баньковские, Владимир Иванович и Лев Владимирович. Их же статьи, где также шла речь о том, почему тонет город на берегу Адриатики, были напечатаны в журнале «Вокруг света», а совсем недавно — в журнале «Новое время».

Вообще-то не Баньковские первыми выдвинули идею строить дамбы на косе Лидо. Таких проектов было немало. Но авторы их считали, что плотины оградят Венецию от наводнений. Баньковские же впервые доказали, что дамбы защитят лагуну и от дальнейшего тектонического прогибания.

Предложение Л. и В. Баньковских — строить дамбы для спасения Венеции — в принципе принято и одобрено. Именно на сооружение дамб в Венецианской лагуне ЮНЕСКО выделило огромную сумму денег. Правда, пока эти деньги «заморожены» — нет еще проекта, не опубликованы результаты работы геологической комиссии. Но рано или поздно работы по реконструкции, или спасению, Венеции начнутся. И красивейший в мире город, прочно стоящий на пермских карагаях, в какой-то мере еще раз будет обязан далекому Уралу.

А. ПОЛЯКОВ



НА ОПУШКЕ

Фото В. Белковского (г. Челябинск)



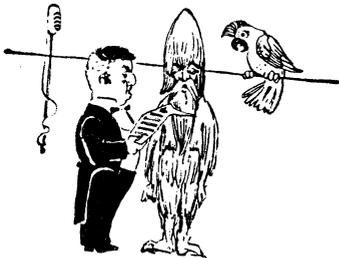
УТРО В БЕРЕЗОВОЙ РОШЕ

Фото С. Слепынина (г. Свердловск)



● В «ГОРОДЕ ТЫСЯЧИ ПАГОД»
● КРУЗО И КАРУЗО

Поездка по Бангкоку на такси может оказаться небезопасным приключением в том случае, если пассажиру попадетя особенно набожный водитель. Проезжая мимо буддистского храма — пагоды, такой шофер считает обязательным благочестиво складывать руки и шептать молитву. Машину при этом он не останавливает. А столицу Таиланда зовут, между прочим, «городом тысячи пагод»...



Всемирно известный тенор Энрико Карузо совершал турне по Америке. В дороге его машина остановилась. Пока шофер устранял неисправность, Карузо зашел на ближайшую ферму, где был сердечно принят всей семьей. На прощание фермер спросил, с кем же он имел честь встретиться.

— Я Карузо,— ответил тенор.

— Боже мой! Вот удивительно! — воскликнул изумленный фермер.— Никогда не думал, что смогу встретиться с вами... Представь себе,— обратился он к жене,— перед нами великий путешественник. Тот, о котором мы столько читали. Робинзон Карузо!

Главный редактор С. МЕШАВКИН

Редколлегия: А. АСС, А. БОГАЧЕВ (зам. главного редактора), МУСА ГАЛИ, А. ДОМНИН, Б. КОЛЕСНИКОВ, В. КРАПИВИН, Ю. КУРОЧКИН, Г. МАШКИН, Н. НИКОНОВ, Л. РУМЯНЦЕВ, К. СКВОРЦОВ, И. ТАРАБУКИН (ответственный секретарь), В. ШУСТОВ

ОБЛОЖКА Н. МООСА

РУКОПИСИ НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

Художественный редактор М. Горшкова. Технический редактор Э. Максимова,
Корректор В. Бурангулова.

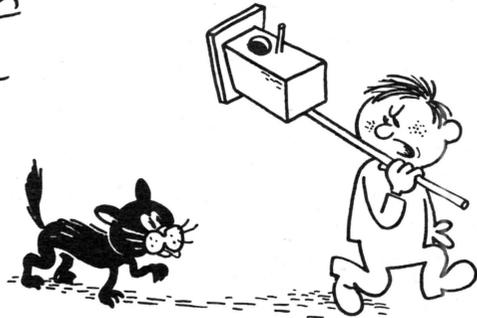
Адрес редакции: Свердловск, ГСП-353, ул. 8 Марта, 8. Телефон 51-22-40
Средне-Уральское Книжное Издательство.

Сдано в набор 9/XII 1972 г. НС 20013. Подписано к печати 18/I 1973 г. Бумага 84×108¹/₁₆=2,62 бум. л.—
8,8 печ. л. Уч.-изд. л. 10. Тираж 219 500. Цена 30 коп. Заказ 660.

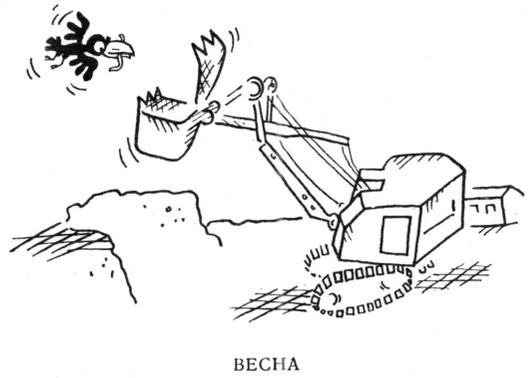
Типография изд-ва «Уральский рабочий», г. Свердловск, пр. Ленина, 49.



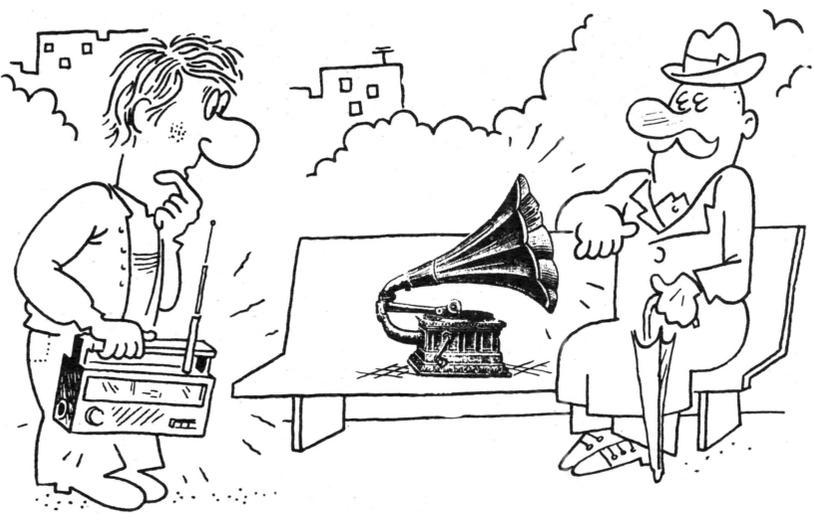
Рисунки В. Милейко



ЧЕГО ПРИВЯЗАЛАСЬ?



ВЕСНА





В. ДИАНОВ, С. КОВАЛЕВ (г. Уфа)

САЛАВАТ ЮЛАЕВ